

INSPIRIA

«Восхитительно,
настоящее чудо».

ДЭВИД МИТЧЕЛЛ,
автор романа
«Облачный атлас»



ХАМНЕТ

МЭГГИ О'ФАРРЕЛЛ



INSPIRIA

Novel. Серьезный роман

Мэгги О`Фаррелл

Хамнет

«ЭКСМО»

2020

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44

О`Фаррелл М.

Хамнет / М. О`Фаррелл — «Эксмо», 2020 — (Novel. Серьезный роман)

ISBN 978-5-04-117553-5

В 1580-х годах в Англии, во время эпидемии чумы, молодой учитель латыни влюбляется в необыкновенную эксцентричную девушку... Так начинается новый роман Мэгги О`Фаррелл, ставший одним из самых ожидаемых релизов года. Это свежий и необычный взгляд на жизнь Уильяма Шекспира. Существовал ли писатель? Что его вдохновляло? «Великолепно написанная книга. Она перенесет вас в прошлое, прямо на улицы, пораженные чумой... но вам определенно понравится побывать там». – The Boston Globe «К творчеству Мэгги О`Фаррелл хочется возвращаться вновь и вновь». – The Time «Восхитительно, настоящее чудо». – Дэвид Митчелл, автор романа «Облачный атлас» «Исключительный исторический роман». – The New Yorker «Наполненный любовью и страстью... Роман о преобразении жизни в искусство». – The New York Times Book Review

УДК 821.111-31

ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-04-117553-5

© О`Фаррелл М., 2020

© Эксмо, 2020

Содержание

Исторический комментарий	6
I	7
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Мэгги О'Фаррелл

Хамнет

Maggie O'Farrell
HAMNET

Copyright © 2020 by Maggie O'Farrell

© Юркан М., перевод на русский язык, 2021

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021

* * *

Уиллу

Исторический комментарий

В восьмидесятих годах XVI века на Хенли-стрит в Стратфорде жила семейная пара с тремя детьми: Сюзанной и двойняшками Хамнетом и Джудит.

Мальчик, Хамнет, умер в 1596 году в возрасте одиннадцати лет.

Года через четыре его отец написал пьесу под названием «Гамлет».

Помер, леди, помер он, Помер, только слег, В головах зеленый дрок,
Камушек у ног.

Шекспир У. Гамлет. Акт четвертый, сцена пятая¹.

«Имена Хамнет и Гамлет в конце XVI – начале XVII века, согласно архивным записям, были практически равнозначны».

Гринблатт С. Смерть Хамнета и сотворение Гамлета//Нью-Йоркское книжное обозрение. 2004. 21 октября.

¹ Здесь и далее цитаты из трагедии У. Шекспира «Гамлет» даны в переводе Бориса Пастернака. – Прим. пер.

I

Мальчик спускался по ступенькам.

Узкий пролет винтовой лестницы. Он медленно переставлял ноги, скользя руками по стене, его башмаки с глухим стуком впечатывались в каждую ступеньку.

Немного не дойдя до подножия, он помедлил, оглянувшись на пройденный им путь. И внезапно решившись, как обычно, перепрыгнул через три последние ступеньки. Неудачно приземлившись на каменные плиты пола, он упал на колени.

Поздний день лета выдался душным и безветренным, нижнюю комнату исполосовали длинные лучи света. Солнце заглядывало в дом через оконные решетки, вставленные в проемы желтых оштукатуренных стен.

Он поднялся на ноги, потирая колени. Глянул в одну сторону, к верхнему повороту лестницы, и перевел взгляд в другую сторону, раздумывая, куда же ему лучше направиться.

В камине пустой комнаты едва теплился огонь, под легкими дымными завитками краснели угли. Боль в ушибленных коленях пульсировала в ритме ударов его сердца. Мальчик взялся за щеколду двери, ведущей на лестницу, потертый носок его ботинка поднялся, развернувшись в сторону движения, к лестничному пролету. Его взъерошенные волосы, светлые, почти золотистые, топорщились надо лбом.

Внизу никого не оказалось.

Мальчик вздохнул, втянув в себя теплый пыльный воздух, прошел по комнате и вышел через парадную дверь на улицу. Он пропустил мимо ушей грохот тележек и ржание лошадей, крики уличных торговцев и разговоры людей, не заметил даже, как грохнулся на землю мешок, выброшенный из какого-то верхнего окна. Пройдя вдоль фасада дома, он зашел в соседнюю дверь.

В доме его дедушки и бабушки всегда пахло одинаково: дымящимися дровами, политурой, кожей и шерстью. Похожие запахи, правда, обогащенные иными странными оттенками, витали в соседнем двухкомнатном флигеле, построенном его дедом, где теперь жил он сам вместе с матерью и сестрами. Иногда, задумываясь, мальчик не мог понять, почему так получилось. Ведь эти два дома разделены всего лишь тонкой плетеной изгородью, однако в каждом из них царила своя особая атмосфера, разные оттенки ароматов, даже тепло в них было поразному.

В большом доме обычно свистели сквозняки и гулял свежий ветерок, в мастерской его деда вечный стук молотков перемежался с обрывками разговоров с клиентами у окна, с хлопотливой суматохой заднего двора и с шумом, производимым снующими туда-сюда дядюшками.

Однако сегодня – все иначе. Мальчик остановился в коридоре, пытаясь расслышать хоть какие-то звуки. Он уже увидел, что находившаяся справа от него мастерская пуста, все стулья и скамьи свободны, инструменты спокойно лежат на верстаках, на подносе брошены перчатки, словно отпечатки рук, выставленные на всеобщее обозрение. Торговое окно закрыто на засов. Столовая слева от него тоже пустовала. На длинном столе виднелась лишь стопка салфеток, незажженная свеча и горстка перьев. Больше ничего.

Он подал голос, пожелав доброго дня с вопросительной интонацией. Повторил свое приветствие разок-другой. Вытянул шею и покрутил головой, надеясь услышать ответ.

Никакого отклика. Дом сейчас полнился только обезличенными голосами собственной спокойной пустоты: поскрипывали разомлевшие под солнцем балки, еле слышно постукивали двери между комнатами, пропускавая через свои щели токи воздуха, чуть колыхались льняные занавески на окнах да потрескивал огонь в камине.

Его пальцы сжали железную дверную ручку. От жаркого дня, пусть даже клонившегося к вечеру, у него на лбу проступили капельки пота. Боль в коленях обострилась и вновь затихла.

Мальчик начал звать домочадцев. Он выкрикивал по очереди имена людей, живущих в большом доме. Своей бабушки. Служанки. Своих дядюшек, тетюшки. Подмастерья. Дедушки. Он произносил все эти имена, одно за другим. У него вдруг мелькнула мысль, что стоит позвать и отца, выкрикнуть его имя, но отец жил сейчас далеко-далеко, в многих часах и даже днях пути отсюда, в Лондоне, где мальчик никогда еще не бывал.

Но где, хотелось бы ему знать, его мать и старшая сестра, где его бабушка и дяди? Куда подевалась служанка? Где его дедушка, ведь днем он обычно никуда не уходил, а торчал в мастерской, подгоняя своего ученика или подсчитывая выручку в грессбухе? Куда все подевались? Почему же вдруг опустели сразу оба дома?

Он прошел по коридору. Остановился около двери в мастерскую. Оглянувшись через плечо, он убедился, что за ним никого нет, и переступил через порог. Ему редко разрешали входить в перчаточную мастерскую дедушки. Запрещали даже стоять у двери. Стоило ему только появиться там, как дедушка принимался ругаться: «Не торчи там, как бездельник. Разве нельзя позволить почтенному человеку спокойно поработать без любопытных взглядов зевак? Неужели тебе нечем заняться, кроме как слоняться по дому да ловить мух?»

Хамнет хорошо соображал: он с легкостью усваивал школьные уроки. Отлично схватывал логику и смысл сказанного, быстро все запоминал. Он легко заучивал глаголы, разные грамматические правила и времена, риторику, легко проводил расчеты, чем, бывало, вызывал зависть соучеников. Однако его мысли так же легко улетали вдаль. Телега, проехавшая по улице мимо окна во время урока греческого языка, могла отвлечь его внимание от грифельной доски и переключить на размышления о том, в какие края сейчас направлялась эта телега, какие грузы везла, и вызвать воспоминания о том времени, когда его дядя катал их с сестрами на телеге с сеном, о том, как чудесно пахло и щекотно покалывало тело то свежескошенное сено, как громко стучали колеса и цокали копыта усталой кобылы. За последние недели его несколько раз выпороли в школе за невнимательность (а бабушка пригрозила, что если это случится еще раз, хотя бы один раз, то она сообщит его отцу). Учителя не понимали такой его рассеянности. Хамнет быстро учился, легко читал наизусть, но так же легко мог отвлечься от выполнения выданных на уроке заданий.

Услышав пение птицы в небе, он мог замолчать на середине фразы, словно сами небеса вдруг поразили его и глухотой, и немотой. Появление в комнате человека, которого он заметил краем глаза, могло вынудить его прервать занятия – что бы он в тот момент ни делал – обедал, читал, переписывал домашнее задание – и взирать на пришедшего с таким видом, словно он ждал от него особо важного известия. Хамнет имел склонность ускользать за границы реального, осязаемого мира, переноситься в иные сферы. Физически он мог сидеть в комнате, но мысли его уносились в неведомые дали, где он общался с воображаемыми героями. «Проснись, дитя!» – зывала к нему бабушка, щелкая пальцами перед его лицом. Старшая сестра, Сюзанна, дергая его за ухо, шипела: «Очнись». Учителя тоже порой кричали на него из-за его невнимательности. «Где же ты был?» – шепотом спрашивала его Джудит, когда он наконец возвращался в реальный мир и, оглянувшись, осознавал, что он опять оказался в доме за своим столом, в окружении родных, а его мать поглядывала на него с загадочной улыбкой, словно она-то знала, где именно он блуждал.

И точно так же сейчас, войдя в запретную перчаточную мастерскую, Хамнет размечтался, забыв о земных заботах. Он мгновенно забыл о том, что Джудит стало плохо и ей требуется помощь, что он отправился искать их мать, или бабушку, или кого-то из взрослых, которые знали, как помочь сестре.

Вешалки полнились разными кожаными материалами. Уже достаточно взрослый Хамнет узнал среди них рыжеватую-красную шкуру пятнистого оленя, тонкую и мягкую лайку, мелкие

беличьи шкурки, грубую и толстую свиную кожу. Подойдя ближе, он заметил, как эти звериные кожи начали шуршать и покачиваться, словно в них еще оставалось немного прежней жизни и ее хватило для того, чтобы почувствовать его приближение. Вытянув руку, Хамнет коснулся пальцем козлиной кожи. На ощупь она казалась необычайно мягкой, подобной речным водорослям, которые щекотали ему ноги во время речных заплывов в жаркие дни. Они слегка покачивались туда-сюда, когда он, раскидывая руки и ноги, проплывал через них, словно утка или водяной дух.

Обернувшись, Хамнет присмотрелся к двум рабочим местам около верстака: мягкое кожаное сиденье, отполированное до гладкости штанами его деда, и жесткий деревянный табурет подмастерья, Неда. Мальчик разглядывал развешанные над верстаком на стенных крючках инструменты. Он уже знал, какие из них используются для разрезания или для растягивания, а какие для прокалывания дырок и для сшивания. Он заметил, что более узкие перчаточные распялки – их использовали для женских изделий – сняты с крючка и оставлены перед табуретом Неда, именно там парень обычно сутулился, склонив голову, а его чуткие и ловкие пальцы быстро выполняли порученную ему работу. Хамнет знал, что его дедушке достаточно любой малости, чтобы отругать Неда, а то и дать подзатыльник, поэтому мальчик взял перчаточные распялки и, оценив теплую весомость их дерева, повесил на нужный крючок.

Он уже собирался открыть ящик, где хранились клубки ниток и коробки с пуговками – осторожно и медленно, ведь он уже знал, как предательски скрипит этот ящик, – когда до него донесся странный шум, то ли шарканье, то ли царапание.

В одно мгновение Хамнет выскочил из мастерской и, промчавшись по коридору, выбежал во двор. Он вспомнил о своем деле. Зачем же он попусту тратил время в мастерской? Ведь его сестра-двойняшка заболела: ему нужно найти того, кто поможет ей.

Он рывком открывал, одну за другой, двери летней кухни, пивоварни и прачечной. Все они оказались пустыми, темными и прохладными. Он вновь начал призывно кричать, уже слегка охрипшим голосом, его горло саднило от крика. Привалившись к стене кухни, он пнул ореховую скорлупку, и она пролетела по двору. От полнейшего одиночества он пришел в крайнее замешательство. Куда же все подевались? И что ему теперь делать? Как они могли все исчезнуть? Почему дома нет ни мамы, ни бабушки, ведь обычно они всегда хлопотали по хозяйству, готовили что-то в печке или варили в кастрюлях на плите? Озираясь, он стоял во дворе около дорожки, поглядывая то на вход в пивоварню, то на дверь их флигеля. Куда же ему теперь идти? К кому обратиться за помощью? И где вообще все взрослые?

* * *

Всякая жизнь имеет свое ядро, свое средоточие, свой очаг, где сходятся все начала и концы. Вот он зыбкий опасный момент отсутствия матери: ее сын в опустевшем доме, всеми покинутый двор, безответные призывы. Он маялся в растерянности на задворках родного дома, призывая людей, которые кормили, пеленали, укачивали его, держали за руку, когда он делал первые шаги, учили есть ложкой, дуть на похлебку, остужая еду, осторожно переходить улицу, не будить лихо, пока оно тихо, мыть кружку перед питьем, не заплывать на глубину...

Это будет тяготить материнскую душу всю оставшуюся жизнь.

* * *

Шаркая подошвами по земле, он обошел весь двор. Заметил следы брошенной игры, в которую недавно играли они с Джудит: они возились с котятками жившей при кухне кошки, размахивая перед ними привязанными к веревочкам сосновыми шишками. Эти детеныши со смешными глазастыми мордочками прыгали и крутились, пытаясь своими мягкими лапками

поймать шишки. Кошка родила их в кладовой, забравшись в пустую бочку, и долго прятала их там. Бабушка Хамнета повсюду искала этот приплод, намереваясь, как обычно, утопить всех котят, но кошка упорно мешала ей, оберегая их тайное место, и теперь уже два подросших котенка свободно бегали, где им вздумается, забирались в мешки, гонялись за перышками, клочками шерсти и упавшими листочками. Джудит обожала их и никогда не оставляла надолго. Она частенько таскала одного малыша в предательски оттопырившемся кармане фартука, откуда торчала лишь пара острых ушек, побуждая их бабушку ругаться и угрожать утопить их в бочке с дождевой водой. Мать Хамнета, однако, шептала двойняшкам, что котята уже слишком большие и бабушка не станет топить их. «Теперь она уже не сможет утопить их, – тайно успокаивала она детей, вытирая слезы с расстроенного лица Джудит, – у нее духу не хватит... они же будут сопротивляться, понимаете, будут царапаться и кусаться».

Хамнет прошел мимо брошенных сосновых шишек, веревочки, привязанные к ним, вяло змеились по утоптанной почве двора. Котята тоже куда-то убежали. Он пнул носком башмака сосновую шишку, и она откатилась от него по кривой дуге.

Он поднял взгляд на дома, на многочисленные окна большого дома и на темный дверной проем его родного флигеля. Обычно они с Джудит с радостью оставались одни. В такие счастливые моменты он мог бы попытаться уговорить сестру забраться вместе с ним на крышу летней кухни, откуда они могли бы дотянуться до ветвей сливового дерева, росшего за соседним забором. Ветви гнулись под тяжестью множества красно-желтых слив, едва не лопавшихся от спелости. Он углядел их с верхнего этажа дедушкиного дома. В обычный день он помог бы Джудит забраться на крышу, чтобы она набила карманы краденными плодами, пусть даже продолжая колебаться и протестовать. Она не любила делать ничего бесчестного или запрещенного, но, будучи по натуре простодушной, легко поддавалась на уговоры Хамнета.

Сегодня, однако, когда они играли с избежавшими ранней смерти котятами, она пожаловалась, что у нее заболела голова и горло, да еще ее начало бросать то в жар, то в холод, и она ушла в дом отлежаться.

Хамнет вернулся в большой дом и прошел по коридору. Он уже хотел опять выйти на улицу, когда вдруг услышал тихий шум. Где-то что-то щелкнуло и сдвинулось, звуки быстро стихли, но их явно издавал какой-то человек.

– Эй, есть тут кто? – крикнул Хамнет. Подождал. Никакого ответа. Столовая и смежная с ней пока закрытая гостиная продолжали давить на него полной тишиной. – Там есть кто-нибудь?

На мгновение, всего на мгновение, он допустил мысль, что его отец мог вернуться из Лондона и хотел сделать ему сюрприз – как уже бывало прежде. Его отец мог прятаться там, за дверью, решив сыграть с ним в прятки. Если Хамнет войдет в ту комнату, отец выскочит ему навстречу, достанет из дорожной сумки привезенные подарки или монетку из кошелька, от отца будет пахнуть лошадьми, сеном, многодневной дорожной пылью, он обнимет своего сына, и Хамнет прижмется щекой к жестким шершавым застежкам отцовского джеркина².

Но он знал, что в гостиной не будет его отца. Точно знал. Его отец ответил бы на повторный призыв и вообще не стал бы прятаться в пустом доме. И все-таки, войдя в гостиную, Хамнет испытал пронзительное разочарование, увидев около столика своего дедушку.

В комнате царил полумрак, большинство окон скрывалось за шторами. Дедушка, сгорбившись, сидел спиной к нему, что-то вяло перебирая: какие-то бумаги или счета из матерчатой сумки. На столе перед ним стояли кувшин и кружка. Между ними лежала дедушкина рука, его голова склонилась, а изо рта доносились тихие всхрапывания.

Хамнет вежливо кашлянул.

² *Джеркин* – короткая мужская куртка с узкими рукавами или без рукавов.

Дедушка развернулся, вскочил, его лицо исказилось дикой яростью, рука взлетела над головой, словно он пытался от кого-то защититься.

– Кто здесь? – рявкнул он. – Кто пришел?

– Это я.

– Кто?

– Да я же, – Хамнет шагнул в узкую полосу падавшего из окна света, – Хамнет.

Дедушка с тяжелым стуком опустился на стул.

– Ты меня до смерти напугал, малыш! – воскликнул он. – С чего ты вздумал подкрадываться как призрак?

– Простите меня, – сказал Хамнет, – я долго звал, но никто мне не ответил. Джудит...

– Все ушли, – перебил его дедушка, резко щелкнув пальцами, – а чего еще можно ждать от всех наших никчемных женщин?

Обхватив горло кувшина, он направил его в кружку. Золотистый напиток – эль, подумал Хамнет, – бурно выплеснулся, отчасти попав в кружку, а отчасти на лежавшие на столе бумаги, дедушка выругался и принялся рукавом стирать брызги с бумаг. Хамнет впервые увидел дедушку пьяным.

– А вы знаете, куда они ушли? – спросил Хамнет.

– Ушли? – пробурчал дедушка, продолжая вытирать бумаги.

Злость из-за испорченных бумаг выпадала из него точно рапира. Хамнет чувствовал, как ее острие блуждает по комнате в поисках жертвы, и мальчику вдруг вспомнился ореховый прут его матери, когда он таинственным образом указывал на место подземных вод, хотя сам он и не был подземным источником, а гнев дедушки вовсе не походил на «волшебную лозу».

– Не стой же там столбом, – сердито выдавил он, – помоги мне.

Мальчик сделал пару шагов к столу. Он побаивался приближаться к деду, в голове крутилось отцовское предупреждение: «Держись подальше от дедушки, когда у него плохое настроение. Не подходи близко. Держись подальше, понял?»

Так говорил ему отец во время последнего приезда, когда они помогали разгружать телегу из кожевенной мастерской. Джон, его дедушка, уронил в грязь тюк с кожами и в сердцах метнул в дворовую ограду свой нож. Отец мгновенно оттащил Хамнета в сторону и закрыл собой, однако Джон, не сказав ни слова, протопал мимо них в дом. Отец обнял ладонями голову Хамнета и, сплетя пальцы у него на затылке, посмотрел на сына с пылливой напряженностью: «Он не тронет твоих сестер, но за тебя я беспокоюсь, – пробормотал он, озабоченно нахмутив лоб, – ты ведь сообразил, о каком настроении я говорил?»

Хамнет кивнул, но ему хотелось продлить этот момент, чтобы отец подольше обнимал вот так его голову: такое объятие вызывало у него ощущение приятной легкости и безопасности, драгоценного взаимопонимания и полной защищенности. И в то же время мальчик испытывал странное внутреннее недовольство, словно съел что-то противное. Ему вспомнились словесные перепалки, которые разыгрывались за столом между отцом и дедушкой, и как отец во время ужина со своими родителями то и дело тянулся к вороту, чтобы ослабить его.

«Поклянись мне, – стоя тогда во дворе, хрипло произнес отец, – поклянись. Мне необходимо знать, что ты будешь в безопасности, пока меня не будет здесь, чтобы присмотреть за тобой».

Хамнет полагал, что сдержал свое обещание. Он держался на безопасном расстоянии. Он стоял с другой стороны от камина. Там дедушка не дотянется до него, даже если попытается.

Взяв кружку, дедушка осушил ее, а другой рукой стряхнул капли с листа бумаги.

– Подержи-ка это, – велел он, протягивая лист.

Хамнет нагнулся вперед, не сходя с места, и взял бумагу кончиками пальцев. Прищурился и вывалив язык, дедушка пристально следил за ним. Он сидел на стуле, сгорбившись: точно старая грустная жаба на камне.

– И вот это. – Дедушка протянул ему вторую бумагу.

Хамнет так же склонился вперед, сохраняя безопасную дистанцию. Он подумал о том, как будет доволен отец, как будет гордиться им.

И вдруг с лисьей скоростью его дед набросился на него. Все произошло так быстро, что Хамнет потом сомневался в последовательности всего происшедшего: бумага упала на пол между ними, а рука дедушки, схватив мальчика за запястье, потом за локоть, дернула его к себе, сократив дистанцию, которую велел ему соблюдать отец, и в итоге он лишь увидел, как другая рука деда с кружкой взлетела вверх. Хамнет осознал только то, что перед глазами появились странные полосы – красные, оранжевые, обжигающие как огонь, и что-то потекло по краю его глаза – и через мгновение почувствовал боль. Острую, пронзительную боль удара. Край кружки врезался ему в лоб прямо под бровью.

– Это тебе наука, – спокойно изрек дедушка, – не будешь впредь подкрадываться к людям аки призрак.

Слезы брызнули из глаз Хамнета, из обоих глаз, не только из того, что заливала кровь.

– Ты еще и хнычешь? Как сопливая девчонка? Такой же слабак, как твой отец, – отталкивая его, презрительно процедил дедушка.

Хамнет отлетел назад, ударившись ногой об угол кушетки.

– Вечно вы хнычете, скулите да жалуетесь, – невнятно проворчал дедушка, – ни капли твердости характера. Ни в чем. В том-то и проблема. Ни малейшей деловой хватки.

Хамнет выскочил из дома и побежал по улице, вытирая лицо и смахивая кровь рукавом. Он зашел в дверь своего флигеля, поднялся по лестнице в верхнюю комнату, где на тюфяке, рядом с большой родительской кроватью под балдахин, лежала маленькая фигурка сестры. Она даже не разделась – коричневая блузка, белый чепец, его завязки свободно лежали на ее шее, – просто прилегла на покрывало. Джудит сбросила туфли, и они валялись на полу рядом с тюфяком, словно пара пустых лодочек.

– Джудит, – спросил мальчик, коснувшись ее руки, – тебе стало лучше?

Веки девочки поднялись. Она посмотрела на брата каким-то туманным, отстраненным взглядом, и ее глаза опять закрылись.

– Я сплю, – еле слышно прошептала она.

У них были одинаковые округлые лица с острыми подбородками, и их золотисто-соломенного оттенка волосы одинаково топорщились над прямоугольными лбами с выступающими мысами по линии роста волос. Глаза, так рассеянно взглянувшие на его лицо, были такого же цвета – янтарные с золотистыми крапинками, – точно такие же, как его собственные. И причина такой схожести вполне понятна: они родились в один день, вместе росли в материнской утробе. Эти мальчик и девочка были двойняшками, родились друг за другом с разницей в считанные минуты. Их сходство было таким полным, словно они родились, как говорится, в одинаковых рубашках.

Он накрыл ее пальцы рукой – одинаковой формы ногти и пальцы, хотя его рука больше, шире, да и погрязнее – и попытался отогнать тревожную мысль, почувствовав горячую влажность пальцев сестры.

– Как ты себя чувствуешь? – опять спросил он. – Лучше?

Она слабо пошевелилась. Их пальцы сплелись. Ее подбородок слегка поднялся и опустился. Мальчик заметил странную припухлость у основания ее горла. И еще какую-то шишку около ключицы. Он пристально посмотрел на них. Казалось, под кожей Джудит отложилась пара перепелиных яиц. Там угнездились какие-то бледные яйца, словно ожидая своего часа, чтобы вылупиться. Одно на шее и одно на плече возле ключицы.

Она что-то сказала, ее губы разделились, обнажив вяло шевелившийся язык.

– Что ты сказала? – спросил он, наклонившись ближе.

– Твое лицо, – прошептала она, – что случилось с твоим лицом?

Он потрогал бровь, ощутив образовавшуюся там шишку и влагу опять скопившейся крови.

– Пустяки, – сказал он, – ерунда. Послушай, – более взволнованно добавил он, – я схожу за врачом. Скоро вернусь.

Она прошептала что-то еще.

– Мама? – переспросил он. – Она... она скоро придет. Скоро придет.

* * *

На самом деле мама находилась довольно далеко от дома, за городом, в ближайшей деревне.

Агнес принадлежал небольшой участок земли в «Хьюлэндсе», на ферме ее брата, протянувшийся от их родного дома до самого леса. Она разводила там пчел в сплетенных из соломы ульях – сапетках, вокруг которых пчелы целыми днями трудолюбиво и увлеченно жужжали; там также зеленели грядки лекарственных трав, цветов и корнеплодов, чьи стебли поддерживались сплетенным из прутьев штакетником. «Колдовской огород Агнес» – так, закатывая глаза, называла этот участок ее мачеха.

Чаще всего ее можно было видеть в этом саду: то она пропалывала сорняки на грядках, то проверяла прочность сапеток, то проводила обрезку растений, заодно собирая разные соцветия, листья, стручки, лепестки и семена и складывая их в кожаный мешок, подвешенный к поясу.

Сегодня брат прислал за ней подпаска, сообщив, что с ульями что-то неладно, пчелы их покинули и скопились на деревьях.

Агнес бродила между ульями-сапетками, прислушиваясь к тому, что говорили ей пчелы; она пригляделась к рою в саду, черное марево растеклось по ветвям, возмущенно дрожа и вибрируя. Что-то их расстроило. Погода, перемена температуры или кто-то повредил их улей? Может, кто-то из ребятишек, или овца забрела на пасеку, или ее мачеха захотела взять меда?

Она мягко ощупала поверхности улья, проверила его внутренние стенки и рамки с оставшимися пчелами. Одета в простое платье, она слегка замерзла в тени окрашенных речными бликами деревьев, белый чепец покрывал ее толстую, скрученную на затылке косу. Лицо Агнес оставалось открытым – она никогда не пользовалась защитными сетками. Любой человек, оказавшись поблизости, заметил бы, что губы Агнес шевелятся, она издавала какие-то звуки и пощелкивания, точно общалась с насекомыми, а они кружили над ее головой, ползали по ее рукам и иногда случайно присаживались на лицо.

Достав из улья медовые соты, она присела на корточки, чтобы осмотреть их. Поверхность покрывал плотный слой пчел, они выглядели как единый живой организм: коричневый с желтыми полосками и крылышками, похожими на крошечные сердечки. Множество пчел собралось вместе, прицепившись к сотам, к плодам своих трудов.

Она подняла дымарь из тлеющего пучка розмарина и слегка окурила им рамку с сотами, дымный шлейф струился в безветренном августовском воздухе. Пчелы разом взлетели и собрались над ее головой бескрайним облаком, похожим на живую воздушную сеть. Бледный воск аккуратно и тщательно соскребался в корзину; вяло, словно неохотно вытекал из сотов мед. Медленно, как смола, золотисто-рыжая, душистая, с острым привкусом тимьяна и цветочной свежести лаванды, он стекал в подставленный Агнес горшок. Медовая струя, волнообразно расширяясь и изгибаясь, тянулась от рамки к горшку.

Внезапно что-то отвлекло ее, какое-то волнение воздуха, словно птица безмолвно пролетела над головой. Агнес, по-прежнему сидевшая на корточках, взглянула вверх. Рука дрогнула, и несколько медовых капель, упав на ее запястье, стекло по пальцам за край горшка. Нахмурившись, Агнес вставила рамку на место и выпрямилась, облизывая кончики пальцев.

Она пригляделась к окружающему миру, глянула направо, где темнели соломенные отливы дома «Хьюлэндса», на белую облачную грядку над головой, на метущиеся слева в лесу ветви деревьев и на рой пчел, рассеявшийся на яблонях. Вдалеке ее младший брат гнал овец по дороге, помахивая хлыстом, а вокруг стада носилась туда-сюда собака. Все вроде бы в порядке. Агнес пристально посмотрела на бегущих овец, на их мелькающие ноги и грязную запыленную шерсть. Пчела с жужжанием опустилась к ней на щеку; она согнала ее, плавно махнув рукой.

Позднее, и всю оставшуюся жизнь, она будет думать, что могла бы помешать случившемуся, если бы сразу ушла с фермы, если бы быстро собрала свои мешки, растения, мед и отправилась домой, если бы прислушалась к этому внезапному смутному беспокойству. Если бы она предоставила разлетевшимся пчелам их собственную судьбу, оставила их жить так, как им захотелось, вместо того чтобы собирать их обратно в ульи, то могла бы предотвратить надвигающуюся беду.

Однако она осталась на пасеке. Смахнув пот со лба и шеи, она отругала себя за глупые страхи. Закрыла крышкой наполнившийся горшок, обернула соты листом и, перейдя к следующему улью, обхватила его ладонями, пытаясь разгадать, понять, что же там происходит. Она прижалась к плетеному боку сапетки и почувствовала, как ворчат и вибрируют внутренности; ощутила всю пчелиную силу, ее мощь, подобную надвигающейся грозе.

* * *

Мальчик, Хамнет, пробежал по улице, завернул за угол, обогнул покорно топтавшуюся перед телегой лошадь и стоявшую около здания гильдии компанию мужчин с серьезными лицами, они явно обсуждали какие-то важные дела. Миновал женщину с ребенком на руках, подгонявшего палкой осла мужчину, грызущую кость собаку, которая настороженно глянула на пробежавшего мимо Хамнета. Пес предостерегающе зарычал и вернулся к своей трапезе.

Добежав до дома врача – где он живет, Хамнет узнал у женщины с ребенком, – он постучал в дверь. Его взгляд скользнул по своим пальцам и ногтям, так похожим по форме на пальчики Джудит; он постучал сильнее. И уже добавил к громким ударам призывный крик.

Дверь открылась, в проеме появилось узкое, сердитое лицо женщины.

– Что за шум ты поднял? – возмущенно крикнула она, махнув на него какой-то тряпкой, словно пыталась отогнать, как насекомое. – Таким грохотом и мертвеца разбудишь. Убирайся отсюда!

Она уже собиралась захлопнуть дверь, но Хамнет рванулся к ней навстречу.

– Нет, пожалуйста, – взмолился он, – простите, мадам. Мне нужен врач. Он очень нужен нам. Моя сестра... она заболела. Сможет ли он прийти к нам? Сможет прийти сейчас?

Она продолжала крепко держать дверь своей покрасневшей рукой, но теперь посмотрела на Хамнета озабоченно и внимательно, словно пыталась по его лицу прочесть, насколько серьезна болезнь.

– Его сейчас нет, – в итоге ответила она, – он у больного.

Хамнет огорченно вздохнул.

– Будьте добры, скажите, когда же он вернется?

Давление на дверь уменьшилось. Он шагнул одной ногой через порог, хотя вторая еще оставалась на крыльце.

– Не могу сказать. – Женщина смерила его взглядом, хмуро отметив вторгшийся в коридор ботинок. – А что болит у твоей сестры?

– Не знаю. – Он припомнил влажное от жара, хотя и бледное лицо сестры, лежавшей на покрывале с закрытыми глазами. – У нее лихорадка. Она отлеживается на своей кровати.

– Лихорадка? – Женщина озабоченно нахмурилась. – А бубоны есть?

– Бубоны?

– Опухоли... под кожей. На шее или под мышками?

Хамнет во все глаза глянул на женщину, невольно отметив морщинку между ее бровями, натертую кожу возле уха под ободком чепца, выбившиеся из-под него тугие завитки волос. Мальчик размышлял над словом «бубоны», почему-то связавшимися в его голове с цветочными бутонами, и звучало это слово так же выпукло, как то, что описывало. Стрела холодного страха пронзила ему грудь, мгновенно сковав сердце ужасной ледяной коркой.

Женщина нахмурилась еще сильнее. Прикоснувшись к груди Хамнета, она вытолкнула его обратно на крыльцо.

– Иди уже, – страдальчески произнесла она, – возвращайся домой. Быстро. Уходи. – Уже закрывая дверь, она оставила все-таки узкую щелку и почти доброжелательно добавила: – Я попрошу врача зайти к вам. Я знаю, где вы живете. Ты ведь из дома перчаточника, верно? Внучок его? С Хенли-стрит. Когда врач вернется, я попрошу его зайти в ваш дом. А теперь быстро уходи. И нигде не останавливайся на обратном пути. – Немного помедлив, она печально заключила: – И да хранит вас Господь.

Хамнет побежал домой. Окружающий мир, казалось, стал более ярким, люди более шумными, улицы удлиннились, голубизна неба углубилась до интенсивной, блистательной синевы. Лошадь по-прежнему стояла рядом с телегой; собака мирно дремала, свернувшись на крыльце. Он вновь подумал о бубонах. Ему уже приходилось слышать это слово. Он знал, что оно означает, чем грозит.

«Конечно же, нет... – подумал он, сворачивая на свою улицу, – не может быть. Этого не может быть. Об этой... – даже мысленно он не посмел произнести название страшной болезни, – заразе не слышали в городе много лет».

Он понимал, что теперь-то, когда он доберется до дома, кто-то из взрослых уже вернется туда. К тому моменту, когда он опять откроет входную дверь. Когда переступит порог. Когда опять позовет кого-то из домашних, кого угодно. На сей раз ему ответят. Кто-нибудь уже будет дома.

* * *

Спеша добежать до дома врача, он не заметил на улицах ни горничной, ни дедушки и бабушки, ни своей старшей сестры.

Его бабушка, Мэри, вместе с Сюзанной разнося заказы, шла по переулку в сторону реки, отгоняя палкой особо задиристых петухов, заметивших их приближение. Сюзанна тащила корзину с перчатками – замшевыми и лайковыми, подбитыми беличьим мехом или шерстью, простыми или с вышивкой.

– Вот, хоть убей, не пойму, почему ты, детка, не можешь хотя бы посмотреть на людей, – сказала Мэри как раз в тот момент, когда Хамнет незамеченным пробежал в конце этой улочки, – когда они здороваются с тобой. Они же одни из самых солидных клиентов твоего дедушки, и не помешало бы проявить мало-мальскую вежливость. Теперь уж я и впрямь готова поверить, что...

Сюзанна, закатывая глаза, тащила за ней с тяжелой корзиной перчаток. «Словно чьи-то отрезанные руки», – глядя на изящные перчатки, подумала она, отвлекшись от ворчливых нравоучений бабушки и вздохнув при виде небесной голубизны, промелькнувшей между крышами двух домов.

Пока Хамнет навещал Джудит в спальне флигеля, Джон, его дедушка, пытался соблазнить походом в таверну вовсе не настроенных на общение с ним мужчин около здания гильдии. Он покинул гостиную, бросив свои подсчеты, и стоял спиной к мальчику, когда тот пробежал мимо к дому врача. Если бы, пробегая там, Хамнет повернул голову, то заметил бы, как его

дедушка, подходя то к одному, то к другому знакомому, хватает их за руки, поддразнивая и уговаривая отправиться с ним в таверну.

Джона не пригласили на собрание, но, узнав об этом событии, он притащился сюда, в надежде застать почтенных горожан, пока они не успели разойтись по домам. Ему хотелось только утвердить собственную значимость, вернуть былой статус влиятельного олдермена. Он мог добиться этого, был уверен в своих силах. Нужно лишь привлечь на свою сторону членов гильдии, которых он давно знал и которые, зная его самого, могли поручиться за его ревностное отношение к делу, за его преданность городу. Либо, на худой конец, добиться помилования или прощения былых грехов от гильдии и городских властей. Раньше он сам был бейлифом, потом олдерменом; он привык сидеть в церкви на передней скамье и носить пурпурную мантию. Неужели члены гильдии забыли о его заслугах? Как они могли не пригласить его на собрание? Он привык пользоваться своим влиянием, раньше-то все они ему подчинялись. Он привык считать себя важной персоной. Но теперь вынужден жить на подачки, присылаемые из Лондона его старшим сыном (а ведь в детстве этот щенок доводил его до бешенства, только и знал, что попусту слоняться по рыночной площади; кто бы мог подумать, что из него выйдет хоть что-то путное?).

Мастерская Джона, разумеется, продолжала приносить доход, людям всегда будут нужны перчатки, даже если его клиентам известно о его тайных сделках с торговцами шерстью, о штрафах за неявку в церковь и выброс отходов на улицу. Джон мог пережить и неодобрение горожан, и штрафы, и претензии, их фальшивые сетования о разорении его семьи, о его исключении из гильдии. Его дом оставался одним из лучших в городе: и таким останется навсегда. Невыносимо для Джона было то, что никто из них не желал выпить с ним, преломить хлеб за его столом, погреться у его очага. Мужчины около здания гильдии, предпочитая не замечать его, продолжали свои разговоры. Точно не слышали его заранее подготовленной речи о надежности перчаточной торговли, о его успехах и прекрасных доходах, оставляли без внимания его приглашения в таверну и на ужин в собственный дом. Они либо сдержанно кивали; либо просто отворачивались. Лишь один из них, похлопав его по плечу, снисходительно пробурчал: «Да-да, Джон, конечно».

Поэтому он поплелся в таверну один. Решил все-таки заглянуть туда ненадолго. Нет ничего плохого в том, что солидный мужчина пропустит кружку-другую в одиночестве. Он будет сидеть там в сумеречном, как вечером, свете, с зажженной перед ним на столе свечой, и смотреть, как шальные мухи слетаются на ее живое пламя.

* * *

Джудит по-прежнему лежала на своей кровати, но ей вдруг показалось, что стены спальни начали изгибаться волнами, то накатывая на нее, то отливая обратно. В странном и постоянном приливно-отливном движении. А столбики родительской кровати вдруг начали скручиваться и извиваться, как змеи; потолок над ней покрылся туманной рябью, как гонимые ветром воды лесного озера. Границы между белой штукатуркой и темными деревянными балками мерцали отраженным светом. У девочки горели лицо и грудь, они покрылись липким потом, однако ноги почему-то заледенели. Ее бросало то в жар, то в холод, сильно знобило, а стены продолжали ходить ходуном, то наваливаясь на нее, то выпрямляясь и отступая назад. Не в силах больше видеть ожившие стены, змеившиеся кроватные столбики и зыбкий потолок, она закрыла глаза.

И, едва смежив веки, она перенеслась в удивительный мир. Его живописные образы множились и менялись. Вот она бредет по цветущему лугу, крепко держась за чью-то руку. Руку своей сестры, Сюзанны. У нее длинные пальцы, и на безымянном – темнеет родинка. Сюзанне хотелось полной свободы: она не удерживала ладошку младшей сестры, лишь позволяя ей

самой держаться за нее. Джудит приходится изо всех сил держаться за ее руку, чтобы не потерять их связи. Сюзанна широкими шагами идет по высокой траве, и с каждым шагом ее рука дергает за собой Джудит. Если Джудит выпустит руку сестры, то исчезнет в густой и высокой траве. Она может потеряться в ней, потеряться навсегда. Поэтому так важно – жизненно важно – держаться за руку. Она знала, что где-то впереди бегал ее брат. Голова Хамнета то и дело мелькала над травой. Его блестящие волосы отливали цветом спелой пшеницы. Он мчался по лугу впереди них, подпрыгивая, как заяц, пронесился туда-сюда, словно комета.

Вдруг Джудит попала в какую-то толпу. Уже вечер, холодный вечер; морозный мрак взрывается сиянием фонарей. Наверное, подумала Джудит, мы пришли на сретенскую ярмарку. Девочка двигалась вместе с толпой, но возвышалась над ней, поскольку сидела на крепких мужских плечах. Папиных плечах. Ее ножки обхватили его шею, и он держал их за лодыжки; она зарылась пальцами в его волосы. Густые и темные, как у Сюзанны. Джудит погладила мизинцем серебряное кольцо в его левом ухе. Он засмеялся – она почувствовала изданный им вибрирующий звук, словно отдаленный рокот грома, он передается от него к ней, – помотал головой, и серьга забренчала, стучая ее по ноготку. И мама рядом, и Хамнет, и Сюзанна, и бабушка. Отец решил прокатить Джудит на своих плечах: он выбрал именно ее.

Впереди полыхал яркий свет. Жаркие огненные жаровни горели вокруг деревянного помоста, языки их пламени колыхались на уровне ее роста, увеличенного благодаря тому, что она сидела на плечах отца. На помосте стояли два человека в красных, украшенных золотым шитьем и множеством кисточек и ленточек нарядах; их головы увенчивали высокие шляпы, а на белых как мел лицах выделялись яркие алые губы и угольно-черные зигзаги бровей. Один из них, издав пронзительный вопль, бросил другому золотой мяч; а второй вдруг встал на руки и поймал летевший мяч ногами. Отец, отпустив ее ножки, принялся хлопать в ладоши, и Джудит мгновенно вцепилась в его шевелюру. Она испугалась, что упадет, свалится с плеч прямо в возбужденную, беспокойную толпу, от которой пахло картофельными очистками, мокрой собачьей шерстью, потом и жареными каштанами. Кроме того, вопль размаляванного клоуна жутко напугал ее. Ей не нравились и пылающие жаровни, не нравились изломанные черные брови, вообще ничего не нравилось в этом представлении. Она начала тихо скулить, слезы заструились по ее щекам, падая, словно жемчужинки, в отцовские волосы.

* * *

Сюзанна и ее бабушка, Мэри, все еще не вернулись домой. Мэри остановилась поболтать с одной из прихожанок: они обменялись сомнительными комплиментами, улыбаясь и похлопывая друг друга по плечам, но Сюзанну их любезности не обманули. Она поняла, что этой женщине не нравится ее бабушка; женщина невольно оглядывалась, опасаясь, не заметил ли кто-нибудь из знакомых, что она разговаривала с Мэри, женой опозоренного перчаточника. Сюзанна знала, что многие горожане, раньше дружившие с их семьей, теперь стремились при встрече перейти на другую сторону улицы. Это продолжалось уже много лет, но с тех пор, как ее дедушку оштрафовали за непосещение церковных служб, горожане потеряли даже притворную вежливость и проходили мимо, не замечая их. Сюзанна видела, как ее бабушка специально преградила путь этой женщине, чтобы она не смогла уклониться от разговора с ними. Девочка уже многое понимала. И такое понимание сильно злило и обижало ее, оставляя в душе горький осадок.

* * *

Лежа в одиночестве на своей постели, Джудит то открывала, то закрывала глаза. Она никак не могла сообразить, что же случилось сегодня. Еще утром они с Хамнетом играли с

котятками, поглядывая, не идет ли бабушка, поскольку Джудит велели нарубить растопку и отскоблить стол, пока Хамнет делал домашние задания, – а потом вдруг она почувствовала странную слабость, боль в спине и покалывание в горле. «Я плохо себя чувствую», – сказала она брату, и он, оторвавшись от игры с котятками, пристально посмотрел на нее. И вот теперь, лежа в постели, девочка уже не понимала, как она попала в спальню, куда подевался Хамнет, когда же придет ее мать и почему никого нет рядом с ней.

* * *

Служанке понадобилось много времени, чтобы выбрать, где купить на рынке молоко последней дойки, к тому же она с удовольствием пофлиртовала с молочником в лавке. «Ладно, ладно, постойте еще», – говорил он, не позволяя ей забрать бидон. «Ах, – отвечала служанка, пытаясь взяться за ручку, – почему вы не даете мне забрать его?» «Что забрать?» – игриво спрашивал молочник, удивленно поднимая брови.

* * *

Агнес закончила собирать мед, взяла мешок и розмариновый дымарь, направила его дым на роящихся пчел. Быстро загнав пчел в мешок, она аккуратно и бережно вернула их в сапетку.

* * *

Отец, находясь в двух днях езды от дома, в Лондоне, в этот самый момент быстро направлялся от Бишопсгейт к реке, где собирался купить одну из плоских пресных лепешек, продававшихся в местных лавках. Сегодня он изрядно проголодался; утром он проснулся очень голодным, но ни эль с овсянкой на завтрак, ни кусок пирога на обед не насытили его. Он бережливо относился к деньгам, тщательно прятал их и никогда не тратил больше, чем необходимо. На эту тему любили пошутить его коллеги. Они говорили, что он прячет свое золото в мешках под половицами; он лишь отмалчивался и посмеивался в ответ. Разумеется, они ошибались: все заработанное он отправлял домой в Стратфорд, или носил с собой, или, если отправлялся в поездку, аккуратно заворачивал и укладывал в подседельные сумки. И все-таки он не потратил бы и четырех пенсов без особой необходимости. Но как раз сегодня к вечеру ему настоятельно требовалось подкрепиться пресной лепешкой.

Рядом с ним шел парень, зять его домовладельца. Болтливый по натуре, он не закрывал рта с тех пор, как вышли из дома. Отец Хамнета прислушивался к его словам лишь время от времени – парень жаловался на тестя, обман с приданным и невыполненные обещания. Пропуская мимо ушей эти жалобы, он приглядывался к закатному солнцу, думая о том, как оно спускается, словно по ступенькам, по узким провалам между зданиями и освещает блестящую после дождя улицу, о пресной лепешке, что ждет его на набережной, о том, как хлопало на ветру и пахло мылом выстиранное белье, висевшее над его головой; попутно мелькнули воспоминания о жене, как она закалывала шпильками свои густые волосы, делая прическу, и при этом лопатки на ее спине то сходились, то расходились или с какой легкостью она зашивала нос его башмака, словно иголка в ее руках шила сама собой, и о том, что ему давно пора зайти к сапожнику, возможно, он это сделает после того, как подкрепитесь лепешкой и избавится от ворчливой болтовни зятя домовладельца.

* * *

Но где же Хамнет? Он как раз опять вошел в дверь родного флигеля, построенного на узком клочке свободного места. Он не сомневался, что теперь-то кто-то из родных вернулся домой. Они с Джудит больше не будут одни. И кто-то из взрослых наконец-то поможет им, позаботится о Джудит, кто-то скажет ему, что все будет хорошо. Он вошел в дом, громко хлопнув дверью. Мальчик призывно крикнул, сообщая, что он вернулся домой. Помедлил, ожидая ответа, но дождался лишь полной тишины.

* * *

Если встать около окна в доме на ферме «Хьюлэндс» и склонить голову на плечо, то можно увидеть край леса.

Возможно, вам откроется изменчивый и беспокойный зеленый массив: ветер играючи ласкает и ерошит листву; каждое дерево по-своему откликается на эти ветреные игры, даже два соседних дерева по-разному крелятся, трепещут и взмахивая ветвями, словно стремятся взлететь, вырваться из самой питающей их родной почвы.

Лет за пятнадцать до того, как Хамнет бегал к дому врача, утром в начале весны возле вышеупомянутого окна стоял репетитор латыни, рассеянно подергивая кольцо в своем левом ухе. Он задумчиво созерцал лесные деревья. Их общее присутствие, стройной стеной обрамлявшее земли фермы, напомнило ему театральный задник, своего рода раскрашенный занавес, что быстро разворачивается на подмостках, дабы дать возможность зрителям почувствовать, как они перенесли в лесистую местность, покинув город или улицы предыдущей сцены, теперь они уже попали в объятия дикой, вероятно, опасно-изменчивой природы.

Его лицо слегка нахмурилось. Он продолжал стоять у окна, так прижимая к стеклу руку, что побелели кончики пальцев. Мальчики сидели за его спиной; они спрятали глаголы, временно выпав из внимания репетитора, ведь он напряженно приглядывался к поразительному контрасту между яркой весенней синевой небес и молодой, едва распустившейся свежей зеленью лесной листвы. Эти цвета, казалось, сражались за превосходство, за трепетную оживленность: зелень против синевы, одна против другой. Латинские глаголы учеников не волновали его, они влетали ему в одно ухо и вылетали из другого, подобно ветру, проносающемуся сквозь деревья. Где-то в фермерском доме прозвенел колокольчик, сначала короткий тихий удар, потом более громкий и настойчивый. Кто-то прошел по коридору, хлопнула дверь. Один из мальчиков – младший брат, Джеймс, понял учитель, не оборачиваясь, – вздохнул, кашлянул, прочистив горло, и вновь принялся нараспев спрягать заданные глаголы. Репетитор поправил воротник, пригладил волосы.

Латинские глаголы окутывали его болотным туманом, проползая между ног, поднимаясь по спине, переваливали за плечи мимо ушей и уносились из дома, просачиваясь в щели свинцовых оконных рам. Он позволял этой латинской литании заполнить комнату звуковым маревом, до самого потолка, расчерченного почерневшими балками стропил. Там они собирались, сливаясь с волнами дымной вуали от огня, тлеющего на решетке жаровни. Он велел мальчикам спрягать глагол «*incarcerare*»³: повторяющиеся твердые согласные «с» и «г», казалось, царапали стены комнаты, как будто сами эти слова стремились найти выход и сбежать на природу.

Отец репетитора, перчаточник, в некотором роде заимев должок перед владельцем фермы «Хьюлэндс», заключил в итоге одно соглашение или сделку с самим фермером и посему

³ *Incarcerare* (лат.) – заключить в тюрьму.

вынудил своего сына приходиться сюда дважды в неделю для обучения латыни фермерских отпрысков. Сам рослый и широкоплечий фермер носил на поясе пастуший посох в форме дубинки, а его прямота и искренность весьма привлекали юного репетитора. Однако в прошлом году этот фермер внезапно умер, навсегда покинув свое землевладение и стада овец, наряду с женой и восемью или девятью детьми (репетитор толком не знал, сколько всего детей на ферме). Собственный отец репетитора встретил кончину фермера с едва скрываемым злорадством. Только ему была известна тайна этого долга: поздним вечером репетитор подслушал, как его отец ликует, думая, что его никто не слышит (но репетитор имел особый дар к тайному подслушиванию): «Разве вы не понимаете? – говорил он своей жене. – Вдова ничего толком не знает, а даже если знает, то не посмеет прийти и требовать у меня выполнения обещанного, как и его тупой переросток, старший сын».

Оказалось, однако, что вдова или сын как раз знали (сам репетитор прознал о долге, подслушав разговор за дверью спальни его родителей), как именно его отец поступил с партией овчины покойного фермера. Отец сообщил фермеру, что шкуры его овец следовало отправить для отбеливания, и фермер поверил ему. Но потом его отец стал настаивать, что шерсть оказалась бракованной, вызвав подозрения фермера, что в итоге и породило все дальнейшие осложнения. Репетитору не удалось услышать последнего замечания его матери в тихом родительском разговоре, поскольку ее голос заглушил капризный, писклявый вой Эдмунда, младшего ребенка.

В общем, как понял репетитор, у перчаточника – отца этого самого репетитора – имелось новое, отчасти незаконное предприятие, о котором никому знать не полагалось. Если кто-то спросит, то детям следовало утверждать – как велели им родители, – что спрятанные бараньи кожи предназначены для перчаток. В этой связи репетитор и остальные дети немало озадачились, поскольку им и в голову не приходило, что эти кожи могли понадобиться для каких-то иных целей. Для чего же еще мог понадобиться такой материал их отцу, самому успешному в городе перчаточнику?

Отец их не мог – не желал? – заплатить долг или штраф, а вдова или сын фермера не соглашались забыть о нем, посему в итоге расплачиваться пришлось ученому сыну. Своим временем, своими знаниями латинской грамматики, своими умственными способностями. Дважды в неделю – как сообщил ему отец – он должен совершать полуторамильную прогулку за город вдоль берега реки, к приземистому фермерскому дому, окруженному овечьими пастбищами, дабы давать младшим мальчикам уроки латыни.

Никто его не предупреждал о таких планах, паутина плелась вокруг него тайно. Как-то вечером, когда все домочадцы уже готовились ко сну, отец позвал его в мастерскую и заявил, что ему придется ходить на ферму «Хьюлэндс» «и начать вдавливать там азы учености в головы их сыновей». Новоявленный репетитор стоял на пороге мастерской, пристально глядя на своего отца.

– Когда, – спросил он, – вы об этом договорились?

Его родители чистили и полировали инструменты, подготавливая их к завтрашнему трудовому дню.

– Не твоего ума дело, – ответил отец, – тебе достаточно знать то, что теперь у тебя есть работа.

– А что, если я не хочу? – спросил его сын.

Сделав вид, что не услышал вопроса, отец вложил большой нож в кожаный чехол. Мать мельком взглянула на мужа и, переведя взгляд на сына, с едва заметным укором покачала головой.

– Будешь учить, и все тут, – наконец изрек его отец, бросив тряпку, – разговор окончен.

Желание вырваться от родителей, тут же покинуть мастерскую, распахнуть входную дверь и выскочить на улицу поднималось в сыне, точно живительные соки по стволу дерева.

И еще, безусловно, хотелось дать отпор отцу, болезненно ударив его, своими собственными руками и кулаками отомстить за все, что когда-то ему пришлось вытерпеть. Они все, все шестеро детей, получали время от времени изрядные удары, тумачи и оплеухи, порожденные взрывной натурой отца, однако никто с такой регулярностью и жесткостью не наказывался, как старший сын. Он не понимал причин, но что-то в нем неизменно притягивало отцовский гнев и разочарование, как подкову к магниту. Он вечно жил с ощущением того, как мозолистая рука отца вдруг схватит его за слабое плечо тем неотвратимым захватом, что будет удерживать мальчика на месте, дабы отец мог другой, более сильной рукой осыпать его градом жестоких ударов. Множество раз его потрясала внезапная и резкая пощечина; или обдирающий кожу ожог от удара сзади по ногам какой-то палкой или плетью. Насколько груба и мощна сила мужчины, настолько же нежна и слаба плоть ребенка, как легко согнуть и сломать неокрепший еще детский организм. Приглушенное, пропитанное яростью и беспомощным унижением чувство копилось в глубине детской души в те бесконечно долгие минуты избиений. Отцовская злость появлялась ниоткуда, словно налетевший порыв ураганного ветра, и так же быстро стихала. В припадках отца не было ничего закономерного, предостерегающего, осмысленного; никто не смог бы предсказать, что именно в очередной раз выведет его из себя. С детства сын научился предчувствовать начало подобных извержений и придумал ряд уловок и хитростей, чтобы избежать ударов тяжелых отцовских кулаков. Как астроном истолковывает малейшие сдвиги и изменения в положениях планет и сфер, дабы предвидеть грядущие перемены, так и старший сын стал знатоком в истолковании отцовского настроения и расположения духа. По звуку, с которым захлопнулась дверь за вошедшим с улицы в дом отцом, по самому звуку его шагов по плиткам пола сын мог сказать, грозит ли ему очередная взбучка. Пролитая из ведра вода, брошенный в коридоре ботинок, недостаточно почтительное выражение лица – любая из подобных мелочей могла стать предлогом для яростного выплеска отцовского гнева.

За последний год сын вырос, обогнав отца ростом: теперь на его стороне были сила, молодость и быстрота реакции. Благодаря походам по местным рынкам, посещению удаленных ферм и кожевенных мастерских с мешками кож или грузом готовых перчаток за спиной он стал мускулистым и крепким. К тому же от внимания сына также не ускользнуло, что удары его отца последнее время заметно ослабели. Однажды, пару месяцев тому назад, отец поздним вечером, выйдя из мастерской, приметил сына в коридоре и, не произнеся ни слова, набросился на него и треснул по лицу оказавшимся у него в руке винным бурдюком. Обжигающая боль оказалась не такой уже сильной, без синяков и переломов, хотя удар получился резким и хлестким. Естественно, как по опыту знал сын, на лице его сразу проявилась красная ссадина. И вид ссадины, похоже, разозлил отца еще больше, поскольку он тут же замахнулся второй раз для очередного удара, однако сын среагировал быстрее. Он перехватил руку отца. И изо всех сил оттолкнув ее, вдруг с удивлением осознал слабость отцовского сопротивления. Теперь он мог противостоять этому левиафану, этому монстру его детства, мог припереть его к стенке без особых усилий. Так он и поступил. Прижал отца к стене локтем. Дернул его вялую, словно у тряпичной куклы, руку, и бурдюк упал на пол. Потом, склонив голову и отметив, что стал как раз на голову выше, сын прямо взглянул на оторопевшего отца. Вот тогда-то он и заявил: «Это был последний раз, больше вы никогда не ударите меня».

* * *

Стоя у окна в «Хьюлэндсе», репетитор вдруг почувствовал, что нужда уйти, взбунтоваться, сбежать заполнила все его существо до самых краев: он не смог проглотить ни кусочка с тарелки, оставленной для него вдовой фермера, так переполняло его стремление уйти, исчезнуть, сбежать подальше отсюда, так далеко, насколько его смогут унести собственные ноги.

Латинские глаголы продолжали плавно звучать, кружась во временном цикле, от настоящего до давно прошедшего времени. Он уже собирался повернуться и взглянуть на учеников, когда увидел, как из леса появилась странная особа. Сначала репетитору показалось, что к дому идет молодой парень в шляпе, коротком кожаном джеркине и перчатках с крагами; с какой-то мужественной безмятежностью или уверенностью он вышел из-за деревьев и широким шагом двинулся к фермерскому дому. На его вытянутой руке сидела крупная птица: каштаново-бурая со светлой кремовой грудкой и с темными крапинами на крыльях. Наохлившаяся птица покорно покачивалась на руке в такт шагам своего явно хорошо знакомого спутника.

Учителю представилось, что этот парень, этот укротивший ястреба юноша, служит работником на ферме. Или гостит здесь, состоя в родстве с семейством, возможно, приходится им кузенком. Но чуть позже он разглядел перекинутую через плечо и спускавшуюся ниже пояса косу, округлой формы груди, обтянутые курткой. Он заметил и то, что подоткнутые раньше юбки теперь поспешно опустились, скрыв чулки. Он увидел под шляпой бледное овальное лицо, дугообразный разлет бровей и пухлые алые губы.

Опираясь на подоконник, он подался вперед, едва не коснувшись носом стекла, и увидел, как эта женщина прошла справа налево перед окном, птица же продолжала спокойно сидеть на ее руке, а юбки колыхались волнами вокруг ботинок. Войдя во двор, она миновала слонявшихся там кур и гусей, завернула за угол дома и исчезла из виду.

Репетитор выпрямился, хмурое выражение стерлось с его лица, и над скудной юношеской бородкой промелькнула улыбка. В комнате за его спиной стало тихо. Он опомнился: урок, мальчики, спряжение глаголов.

Обернувшись, он сложил пальцы домиком, как, по его представлению, следовало делать любому почтенному учителю – совсем недавно так же поступали и его учителя в школе.

– Отлично, – похвалил он учеников.

Их взгляды обратились к нему, точно головки растений к солнцу. Он улыбнулся, глядя на их нежные, еще не сформировавшиеся лица, казавшиеся бледными и рыхловатыми, как неподнявшееся тесто, в люющем из окна свете. Он сделал вид, что не заметил, как старший брат тычет под столом младшего заточенной палочкой, которой он выписывал на доске буквенные крючки и петли.

– А теперь, – сказал он им, – я хочу, чтобы вы поработали над переводом следующего предложения: «Благодарю вас, сэра, за ваше любезное письмо».

Они начали корпеть над заданием, склонившись над своими досками, старший (глупейший, по мнению учителя), открыв рот, шумно вздохнул, а младший сразу принялся выводить слова, склонив голову к левой руке. Вообще-то, серьезно говоря, непонятно, зачем давать этим детям уроки латыни? Разве судьбой им не предназначено стать фермерами, как их отцу и старшим братьям? Но, с другой стороны, какая ему самому польза от учебы? Долгие годы, проведенные в королевской школе, а в итоге, где он оказался? В затуманенном дымом доме, где пытается вложить в головы сыновей овечьего пастуха основы спряжений глаголов и общей латинской грамматики.

Дождавшись, когда мальчики закончили выполнять задание, он спросил:

– Как зовут вашу служанку? С птицей?

Младший брат посмотрел на него с откровенным удивлением.

Репетитор улыбнулся ему. Он гордился тем, что научился скрывать свои и читать чужие мысли, догадываясь, что может взбрести в голову людям и что они готовы сделать в следующий момент. Жизнь со вспыльчивым отцом отточила эти навыки с раннего детства. И репетитор видел, что старший не усмотрел в его вопросе никакой задней мысли, но младший, всего-то девяти лет от роду, кое-что заподозрил.

– С птицей? – переспросил старший. – У нее нет никакой птицы. – Он глянул на младшего. – Верно ведь?

– Нет? – Репетитор оценил их непонимающие взгляды и вновь представил на мгновение крапчатое рыжевато-коричневое оперение ястреба. – Вероятно, я ошибся.

– У нас служит Хетти, – поспешно добавил младший брат, – присматривает за свиньями и курами. – Он наморщил лоб. – Разве курицы тоже птицы?

– Конечно, птицы, только нелетающие, – кивнув ему, пояснил репетитор.

Он опять повернулся к окну. Выглянул. Ничего не изменилось. Ветер, деревья, листва, отара грязных овец, протянувшаяся до леса полоса ухоженной возделанной земли. Никакой девушки больше не наблюдалось. Могла ли на ее вытянутой руке сидеть обычная курица? Он сомневался.

* * *

Позже, в тот день, по окончании урока, репетитор, покинув дом, вышел на задний двор. Ему следовало бы сразу выйти на дорогу к городу, отправившись в дальний путь домой, однако хотелось еще разок увидеть ту девушку, хотелось поближе рассмотреть ее, может, даже поговорить с ней. К тому же у него появилось желание рассмотреть поближе и саму птицу, услышать, какие крики она издает. Может, ему удастся оценить весомость длинной косы девушки, погладить и ощутить шелковистость ее волос. Обходя дом, он взглянул на его окна. У него, разумеется, не было ни малейшего оправдания для появления на заднем дворе. Мать мальчиков могла догадаться, кого он там ищет, и мгновенно отослать его восвояси. Он мог потерять здесь свое место, поставить под угрозу хрупкое соглашение, заключенное его отцом с вдовой фермера. И все-таки такие размышления не заставили репетитора остановиться.

Он прошел по двору, удачно избежав грязных луж и кучек навоза. Утром, когда он объяснял ученикам сослагательное наклонение, лил дождь: он слышал тихий перестук капель по соломенной крыше дома. Небесный свет помрачнел, солнце заволокли облака; воздух еще не освободился от холодной зимней хватки. Пестрая курица усердно скребла лапками землю, тихо ворча о чем-то сама с собой.

Ему вспомнилась та девушка с длинной косой и ястребом. И вдруг он представил, как можно облегчить бремя, навязанное ему отцом. Его занятия с детьми на унылой пригородной ферме вполне могли стать терпимыми. Ему представились любовные свидания после уроков, прогулки в лесу, встречи за надворными постройками, за одним из сараев или складов.

Он ни на минуту не допускал мысли о том, что увиденная им женщина на самом деле была старшей дочерью покойного фермера. Она пользовалась особой известностью в здешних местах. Ходили слухи о присущих ей странностях, поговаривали, что она тронутая, чудаковатая, возможно, даже безумная. Он слышал, что она любит бродить одна по проселочным дорогам и лесам, собирая растения, и готовит из них какие-то сомнительные снадобья. Разумно было бы не переходить ей дорогу, поскольку в народе говорили, что она научилась всяким колдовским штучкам у одной старой карги, которая изготавливала зелья и обереги и могла одним взглядом убить ребенка. Говорили еще, что здешняя вдова живет в жутком страхе, опасаясь, что падчерица наложит на нее проклятье, особенно теперь, когда умер фермер. Отец, должно быть, любил старшую дочь, поскольку в завещании оставил ей значительное приданое. Хотя вряд ли, конечно, кому-то взбредет в голову жениться на ней. Ее мать, упокой Господи ее душу, была цыганкой, или колдуньей, или вообще лесной феей: репетитор слышал о ней множество невероятных историй. Его собственная мать неодобрительно трясла головой, когда в разговоре всплывало имя этой девушки.

Сам репетитор никогда ее не видел, однако она представлялась ему каким-то полуженским, полужвериным существом: колченогой хромоножкой с копной спутанных, посыпанных пеплом волос над густыми кустистыми бровями, в покрытой грязью и листвой серой одежде.

Как же еще могла выглядеть дочь умершей лесной ведьмы? Он так и видел, как она, хромая, бормотала что-то себе под нос и копалась в мешке со своими бесовскими снадобьями.

Молодой человек окинул быстрым взглядом двор: тенистый навес свинарника, еще голые ветви яблонь, склонявшиеся над забором, огораживавшим фермерский жилой участок. Ему не хотелось бы случайно столкнуться здесь с их странной старшей дочерью. Пройдя в калитку забора, он пошел дальше по дорожке. Оглянувшись через плечо на окна дома, он заглянул в двери амбара, где скотина в стойлах, покачивая головами, жевала сено. Где же могла быть та служанка?

От мыслей о безумной колдунье его отвлекло какое-то движение слева: открывшаяся дверь, скрип петель, кружение юбок. Девушка с птицей! Та самая девушка. Появившись из какого-то грубо сколоченного сарая, она быстро закрыла дверь. И вот она стоит прямо перед ним, словно он одной силой мысли вызвал ее появление.

– Доброго вам дня, – кашлянув в кулак, произнес он.

Девушка повернулась. Чуть приподняв брови, она посмотрела на него долгим взглядом, казалось, разматывая перед своим мысленным взором цепочку его путаных размышлений, словно голова молодого человека была прозрачной, как вода. Она смерила его взглядом с головы до ног и обратно.

– Сударь, – помедлив, ответила она, с легким намеком на вежливость, – что привело вас в «Хьюлэндс»?

Ее четкий и ясный голос прозвучал на удивление мелодично. И мгновенно оказал на него странное воздействие: пульс участился, а в груди разлилось живительное тепло.

– Я обучаю мальчиков, – пояснил он, – латыни.

Он ожидал, что это сообщение впечатлит ее и она уважительно кивнет. Ведь очевидно, что он ученый человек, грамотный и образованный. «Перед вами, сударыня, вовсе не неотесанный мужлан, – хотелось ему добавить, – не простой деревенщина».

Однако выражение лица девушки ничуть не изменилось.

– Ах да, – сказала она, – репетитор латыни. Разумеется.

Его озадачило ее равнодушие. Этой особе удалось совершенно сбить его с толку: едва ли ему удалось бы угадать ее возраст, как, впрочем, и положение в здешнем доме. Возможно, она немного старше его. Одетая, как служанка, в грубую и грязную одежду, а говорит с хозяйскими замашками. У нее хорошая прямая осанка, темные, как и у него, волосы, да и ростом она почти с него. Она по-мужски смело встретила его взгляд, однако фигура и обрисованные джеркином округлые формы определенно свидетельствовали о ее женской природе.

Репетитор решил, что в данном случае лучше всего действовать прямо.

– Мог ли я видеть вас с вашей... вашей птицей?

– Моей птицей? – нахмурившись, спросила она.

– Разве не вас я видел раньше, когда вы вышли из леса? С птицей, сидевшей на руке? Ястребом? Самое интересное, что...

Впервые на лице ее проявились хоть какие-то эмоции: озабоченность, беспокойство и отчасти страх.

– Вы ведь не скажете им, – она махнула рукой в сторону фермы, – правда? Мне запретили гулять с ней сегодня, понимаете, но она вела себя так беспокойно и явно изрядно проголодалась... мне было невыносимо думать, что она просидит взаперти целый день. Вы ведь не скажете, правда, что видели меня? Что я ходила в лес?

Репетитор улыбнулся. Шагнул к ней навстречу.

– Никогда и никому из ваших я ничего не скажу, – умудрился произнести он с величавой утешительностью и, коснувшись ее руки, добавил: – Не волнуйтесь.

Взмахнув ресницами, она встретила с ним взглядом. Они рассматривали друг друга, стоя совсем близко друг от друга. Он заметил, каким ярким светом лучатся ее золотистые

глаза с темным янтарным кольцом вокруг зрачков. И с зелеными крапинками. Опушенные длинными темными ресницами. Светлая кожа с россыпью веснушек на носу и щеках. Внезапно она сделала нечто странное: взяла его за руку, ту, что покоилась на ее предплечье. И сжала его ладонь в провале между его большим и указательным пальцами. Хватка ее оказалась на редкость крепкой, странно требовательной и интимной и почти болезненной. Он даже затаил дыхание. И у него вдруг закружилась голова. Явно закружилась. Ему подумалось, что никто еще прежде не сжимал его руку в такой странной манере. Он не смог бы убрать свою руку без резкого усилия, даже если бы захотел. Он осознал, что ее поистине удивительная внутренняя сила породила в нем необычайное возбуждение.

– Мне... – начал он, понятия не имея, что собирался или даже хотел сказать. – Вернее, вам...

Неожиданно девушка резко отпустила его и спрятала свою руку за спину. Там, где она сжимала его ладонь, ощущался странный жар и странная слабость. Он смущенно потер лоб, словно пытаясь вернуть руке нормальное ощущение.

– Вам хотелось увидеть мою птицу, – произнесла она уже с деловитой уверенностью и, сняв ключ с висевшей в складках ее юбки цепочки, отперла им ближайшую дверь и распахнула ее. Она шагнула внутрь, и он, полубессознательно, последовал за ней.

Они оказались в тускло освещенном узком помещении, пропитанном какими-то знакомыми, сухими запахами. Вдохнув поглубже, он осознал, как приятно пахло здесь деревом, птичьим клеем и какими-то душистыми растениями. К ним также примешивались запахи побелки и мускуса. Женщина стояла в непосредственной близости: он улавливал запах ее волос и кожи, от нее исходил легкий аромат розмарина. Ему опять захотелось коснуться ее тела – ее рука и талия оказались так соблазнительно близко, и зачем же еще, на самом деле, она привела его сюда, если ей также не хотелось его объятий...

– Вон она, – пылко прошептала она, – вы видите ее?

– Кого? – растерянно спросил он, отвлекшись от соблазнительной талии и розмаринового аромата, глаза репетитора уже привыкли к полумраку, и он разглядел вокруг множество полок. – Что?

– Мою соколиху, – пояснила она, шагнув вперед, и тогда репетитор увидел в дальнем конце этого помещения деревянную стойку, на которой сидела хищная птица.

Головка закрыта колпачком, крылья сложены за спиной, чешуйчатые желтоватые лапки с темными когтями обхватили верхнюю перекладину стойки. Она сидела нахохлившись, съжившись, словно от дождя. Темные крылья сходились к светлой грудке, рябоватой, похожей на древесную кору. Оказавшись в непосредственной близости с созданием, столь несомненно принадлежавшим иной стихии, стихии ветра или неба и даже, возможно, мифической природы, он испытал на редкость замечательное ощущение.

– Боже мой, – невольно вырвалось у юноши, и девушка, глянув на него, впервые улыбнулась.

– Такого сокола называют пустельгой, – прошептала она, – мне подарил ее еще птенчиком друг моего отца, священник. Почти каждый день мы ходим с ней в лес гулять, и я выпускаю ее полетать. Мне не хочется сейчас снимать с нее колпачок, но она знает, что вы здесь. Она запомнит вас.

Репетитор в этом не сомневался. Хотя глаза и клюв птицы закрывал колпачок, сшитый из кожи – возможно, овечьей или лайковой, он раздраженно поймал себя на мысли, что птичья головка подрагивает и поворачивается, реагируя на каждое сказанное ими слово и любое сделанное ими движение. Он предпочел бы, вдруг осознал молодой человек, взглянуть этой птице, скажем так, в лицо, увидеть ее взгляд, попытаться понять, какое же существо скрывается под колпачком.

– Сегодня она поймала двух хомячков, – сообщила девушка, – и полевку, а летает пустельга, – продолжила она, повернувшись к нему, – совершенно бесшумно. Зверькам не слышно ее приближения.

Воодушевленный ее взглядом, репетитор осмелел. Его пальцы коснулись рукава жакета, переместились на спину и, наконец, спустились к талии. Обняв девушку так же крепко, как она сжимала его руку, он постарался привлечь ее к себе.

– Как вас зовут? – спросил он.

Она отстранилась, но он еще крепче обнял ее.

– Не скажу.

– Скажете.

– Отпустите меня.

– Сначала скажите.

– И тогда вы отпустите меня?

– Да.

– Откуда мне знать, сударь репетитор, что вы сдержите свое обещание.

– Я всегда выполняю обещания. Я человек слова.

– Вы также человек, распускающий руки. Повторяю, отпустите меня.

– Сначала ваше имя.

– И тогда вы освободите меня?

– Да.

– Отлично.

– Там вы скажете?

– Да, меня зовут...

– Как?

– Энн, – то ли ответила, то ли вздохнула она, одновременно с его словами:

– Мне нужно знать.

– Энн? – быстро повторил он, словно пробуя на вкус такое знакомое и все-таки уже странное имя. Так звали и его сестру, умершую два года назад. Он осознал внезапно, что со дня ее похорон ни разу не произносил это имя. И на мгновение ему вновь ярко вспомнились стекающие с тисов дождевые капли на мокром церковном кладбище и черный провал земли, разрытой для завернутого в белый саван тела, такого хрупкого и маленького. Оно казалось слишком маленьким, чтобы остаться там под землей в полном одиночестве.

Хозяйка пустельги, воспользовавшись минутным замешательством репетитора, резко оттолкнула его; он упал на тянувшиеся вдоль стен полки. Породив своим падением череду странных, отдающих эхом постукиваний, словно раскатились по своим лункам многочисленные игровые кости или мячи. Оглянувшись вокруг, он смутно различил на полках какие-то округлые, плотные плоды, типа шариков с ножкой. И неожиданно понял, какой знакомый запах здесь витал.

– Яблоки, – удивленно произнес он.

Она усмехнулась, стоя напротив него и опираясь локтями на заднюю полку, находившуюся рядом с птичьей присадой.

– Мы в яблочном амбаре.

Подняв одно яблоко, он рассмотрел его, вдохнул характерный запах плода, резкий и кисловатый. Перед его мысленным взором промелькнуло множество прошлогодних образов: опавшие листья, влажная трава, древесный дым, кухня его матери.

– Энн, – повторил он, вгрызаясь в яблочную плоть.

Девушка улыбнулась, и он осознал, что ее легкая улыбка и соблазнительно изогнутые губы одновременно восхищают и сводят его с ума.

– Это не мое имя, – проронила она.

С шутливым возмущением, смешанным с реальным облегчением, он опустил яблоко.

– Но вы же назвали его.

– Не называла.

– Нет, назвали.

– Значит, вы плохо слушали.

Отбросив наполовину съеденное яблоко, он шагнул к ней.

– Сейчас же признавайтесь, как вас зовут.

– Ничего не скажу.

– Скажете.

Он положил ладони ей на плечи и, пробежав жадными пальцами по ее рукам, заметил, как она задрожала от его прикосновений.

– Вы скажете мне, – заявил он, – после нашего поцелуя.

– Самонадеянно, – склонив голову набок, заметила она, – а что, если мы не будем целоваться?

– Но мы же поцелуемся.

И вновь, завладев его рукой, она сжала его ладонь между большим и указательным пальцами. Приподняв брови, он пристально посмотрел на нее. На лице ее запечатлелось такое выражение, словно она читала какую-то на редкость сложную книгу, пытаясь расшифровать и понять ее загадочный текст.

– Гм-м-м, – протянула она.

– Что вы делаете? – спросил он. – Зачем вы так странно сжимаете мою руку?

Нахмурившись, она устремила на него прямой, испытующий взгляд.

– В чем дело? – спросил он, внезапно встревоженный ее молчанием, сосредоточенностью, ее странным рукопожатием. Яблоки спокойно лежали в гнездах вокруг них. Пустельга, настроенно прислушиваясь, недвижимо сидела на своей присаде.

Женщина подалась к нему. Она выпустила его руку, и вновь у него возникло болезненное ощущение слабости, незащитности и опустошенности. Не вымолвив ни слова, она вдруг сама поцеловала его. Он почувствовал мягкие изгибы ее губ, твердость зубов, невероятную гладкость кожи лица. Но она быстро отступила.

– Агнес, – коротко обронила она.

И это имя он тоже знал, хотя впервые познакомился с человеком с таким именем. Агнес. Сказано иначе, чем могло бы быть написано в книге, с почти проглоченным, скрытым «г». Язык только чуть приподнимается сзади и, так и не издав этой согласной, переходит к следующей. Ан-ньес. Ан-ньез. Нужно просто проглотить окончание первого слога и сразу перейти к следующему.

Девушка ловко, не задев полку, проскользнула мимо него. Открыла амбарную дверь, и внутрь ворвался ослепительно-белый, ошеломляющий свет. Дверь за ней захлопнулась, и репетитор остался наедине с соколихой, яблоками и мясным и скучным запахом этой крылатой хищницы.

Он настолько опьянел от поцелуя, яблочного амбара, от сохранившегося в памяти ощущения ее рук и плеч, что до половины дороги в город все строил планы следующего урока в «Хьюлэндсе» и нового свидания с соблазнительной служанкой, и лишь на второй половине – его посетила одна отрезвляющая мысль. Разве не говорили, что как раз старшая дочь этого фермера обзавелась хищной птицей?

* * *

В тех краях ходили истории о девушке, жившей на краю леса.

Люди частенько рассказывали о ней друг другу: «А вы когда-нибудь слышали о девушке, жившей на краю леса?» – спрашивал кто-то своих близких, когда все они усаживались вечером у очага, где замешивали тесто и чесали шерсть для прядения. Такие байки, естественно, помогали скоротать вечерок, утихомирить расшалившихся детей, а взрослым – отвлечься от дневных забот.

Жила-была на краю леса одна девушка...

В этом зачине скрыто своеобразное обещание от рассказчика слушателю, подобно тому, как сунутая в карман записка вселяет надежду на некое будущее событие. Любой из ближнего круга слушателей тут же заинтересовался бы и наострил уши, представив себе девушку, с трудом выбиравшуюся из лесных глубин или стоявшую на опушке возле зеленеющего леса.

В каком же лесу она жила? В страшной зеленой чаще, увитой плющом и поросшей колючими кустами ежевики, где ветви деревьев сплетались так плотно, что, как говорится, вовсе не пропускали солнечного света. В общем, не то местечко, где хотелось бы заблудиться. Тропинки там петляли, пересекаясь друг с другом и уводя человека с нужного пути, отдаляя от намеченной цели. Невесть откуда налетали порывы сильного ветра. На редких полянках путнику начинали слышаться странная музыка, или зловещий шелест, или чей-то бормочущий голос вдруг призывно произносил его имя: «Сюда, иди сюда, иди за мной».

Детям, жившим около такого леса, с раннего детства наказывали никогда не соваться туда в одиночку. Девушек увещевали держаться подальше, пугая нечистью, что таится в зеленых ежевичных зарослях. Там обитали похожие на людей создания – их называли лешими, – они бродили по заповедным тропам, бормоча свои заклинания, но никогда не выходили из леса, вся их жизнь проходила в этом лиственном мире, в укромных жилищах среди влажных чащоб и болот. Говорили, что иногда они принимали облик охотничьей собаки, сверхъестественной твари с лоснящимися боками и сверкающими клыками, она бросалась в чащу, преследуя оленя, и исчезала бесследно. Она преследовала светлым промельком петлявшего животного, а лес смыкался за ней и уже никогда не выпускал из своих глубин.

Перед входом в такой лес люди останавливались помолиться возле придорожного алтаря с крестом, где можно было немного отдохнуть и вручить свою жизнь в руки Господа в надежде, что их молитва будет услышана. Люди верили, что Он присмотрит за ними, не позволив, чтобы их пути пересеклись с лешими и лесными духами. Крест тот, говорят, со временем плотно обвили ветви плюща. Иные странники веровали в помощь темных сил: лесные опушки пестрели языческими святынями, люди привязывали к ветвям священных деревьев обрывки одежд, оставляли под ними кружки эля, краюхи хлеба, сдобренные шкварками, нити ярких бус, надеясь, что улаженные духи будут охранять их в лесу.

В общем, девочка и ее младший брат жили в доме рядом с тем лесом. Из задних окон открывался вид на возвышающиеся у дороги лесные деревья, и в ветреные дни возле тех окон торчали встрепанные головы детей, а зимой – они дрожали там, сжав кулачки. Брат и сестра с рождения чувствовали притяжение этого леса, его манящую силу.

Народ в деревне давно считал, что мать этой девочки явилась из того самого леса. Но ее настоящего происхождения никто не знал. Возможно, она ушла из родительского дома, заблудилась и осталась жить в лесу или все-таки имела иную лесную натуру.

Никто не знал. Ходили слухи, что она появилась однажды из зарослей ежевики, из того зеленого сумеречного мира, и случайно встретила с фермером, он пас на лугу своих овец. Увидев ее, он уже не смог отвести взгляд. Он смахнул листья с ее волос, улиток с юбки. Очистил от веток и мха рукава ее платья, смыл грязь с ее босых ног. Он привел ее в свой дом, накормил, придел, женился на ней, и вскоре у них родилась девочка.

После этого рассказчики обычно поясняли, что эта женщина души не чаяла в своем ребенке. Привязывала малышку на спину и повсюду таскала с собой, а по дому даже в студеные зимние дни ходила босиком. Она не оставляла ребенка в колыбельке даже на ночь, а уклады-

вала спать у себя под боком, как животные. Целыми днями вместе с ребенком она пропадала в лесу, возвращалась уже в сумерках с полным передником нечищенных каштанов в холодный дом, где не горел очаг и не было никакой готовой еды для голодного мужа. Женщины по соседству начали судачить о том, как же он может мириться с такой жизнью. И зная, что молодая мать сама лишилась матери – так они думали, – соседки стали заходить на ферму и делиться мудрыми советами по ведению хозяйства, отнятию ребенка от груди, предотвращению болезней, о том, как следует шить и чинить одежду, и о том, что любой замужней женщине приличествует носить чепец.

Выслушивая все их советы, женщина кивала с рассеянной улыбкой. Ее частенько видели на дороге с распущенными по плечам, ничем не покрытыми волосами. Она вскопала полосу земли возле дома и выращивала там странные растения – лесные папоротники, стелющийся зверобой, перечную мяту и еще какие-то невзрачные низкие кустики. Нормально общалась она, похоже, только со старой вдовой из дома на окраине деревни. Их частенько видели вдвоем, они вели какие-то разговоры за забором в садике вдовы, где пожилая женщина бродила, опиралась на свою палку, а ее молодая гостя с привязанной к спине малышкой, по-прежнему босоногая и простоволосая, пропалывала какие-то грядки.

В скором времени молодая женщина вновь забеременела, и на сей раз на свет появился мальчик, и едва он сделал первый вздох, стало ясно, что малыш на редкость крепкий и сильный. Ребенок родился здоровенным, с такими большими руками и ногами, что, казалось, мог бы сразу начать ходить. Женщина вела себя как прежде, привязывала к себе малыша и уже через день-другой после родов отправилась с ним в лес вместе с девочкой, державшейся за юбку и еще неуверенно ковылявшей за матерью.

Когда живот ее округлился в третий раз, женская удача отвернулась от нее. Она слегла, родила третьего ребенка, но уже не смогла вернуться к жизни. Соседки пришли, чтобы обмыть и обрядить ее, подготовить к миру иному. Они оплакивали ее, не потому что полюбили эту женщину, которая появилась из леса и звалась странным именем, схожим с названием дерева, вышла замуж за их соседа и редко общалась с ними, отклоняя их попытки сближения, а потому что ее смерть напомнила им о скоротечности их собственной жизни. Они дружно плакали, омывая ее, расчесывая волосы, вычищая грязь из-под ногтей, покрывая ее белым полотном, заворачивая в тряпицу крошечное тельце мертворожденного ребенка и помещая его в руки умершей.

Девочка с широко открытыми глазами, в полном молчании сидела спиной к стене, скрестив ноги. Она не рыдала, не плакала; не вымолвила ни слова. Взгляд ее не отрывался от тела матери. На коленях она держала младшего брата, он плакал навзрыд, сопливился и вытирал глаза подолом ее платья. Если кто-то из благожелательных соседок пытался приблизиться к ней, девочка начинала шипеть, фыркать и царапаться, как кошка. Она не выпускала из рук своего братика, несмотря на многочисленные попытки забрать его. «Трудно помочь такой маленькой дикарке, – сетовали они, – трудно даже понять ее».

Девочка подпускала к себе только старую вдову, с которой сдружилась ее мать. Старушка спокойно сидела на стуле рядом с этими детьми, держа на коленях миску с едой. Время от времени девочка позволяла ей сунуть ложку каши в рот мальчика.

Одна из соседок вспомнила, как ее незамужняя младшая сестра, Джоан, заботилась о своих младших братьях и сестрах, так же, как о поросятах, и вообще привыкла к тяготам ведения хозяйства. Почему бы не свести ее с овдовевшим фермером? Нужно же кому-то заниматься домашними делами, заботиться о детях, поддерживать огонь в очаге и готовить еду. Кто знает, может, всем будет только лучше? Все знали этого фермера как состоятельного человека с добротным домом и большим пастбищем; при правильном обращении его детей можно приучить к послушанию.

Не проведя и месяца на ферме, Джоан начала жаловаться на фермерскую дочку всем, кто хотел ее слушать. Из ее слов следовало, что этот ребенок доводил ее до безумия. Два раза она просыпалась ночью оттого, что девочка стояла над ней, схватив ее за руку. Однажды она заметила, как девочка тайком сунула что-то ей в карман, и обнаружила там какие-то веточки, связанные куриным пером. Порой она находила у себя под подушкой листья плюща, и кто же еще, скажите на милость, мог положить их туда?

Соседки в деревне не знали, как воспринимать ее жалобы и можно ли ей верить, хотя заметили, что лицо Джоан покрылось какими-то пятнами и оспинами. Потом на ее руках появились бородавки. Ее пряжа стала путаться и рваться, а хлеб перестал подниматься. Но разве эта совсем еще маленькая девочка могла устроить все эти пакости?

Вы, наверное, подумали, что Джоан предпочла избавиться от такой жизни, покинуть ферму и вернуться в родной дом. Однако ее не так-то легко было напугать, Джоан не боялась капризных и упрямых детей. Она стойко держалась, втирала свиной жир в бородавки, протирали кожу лица золой.

Со временем, как зачастую бывает в подобных случаях, стойкость Джоан была вознаграждена. Фермер взял ее в жены, и она нарожала ему шестерых детей, все они росли красивыми, цветущими и здоровыми, как она сама и их отец.

После свадьбы Джоан перестала жаловаться людям на падчерицу так внезапно, словно кто-то наложил своеобразное заклятье на ее язык. «Да нет в ней ничего особенного, – порой раздраженно говорила она, – вовсе ничего». И если кто-то говорил, что девочка могла заглядывать людям в души, то она упорно называла это глупыми сплетнями. Уверяя всех и каждого, что семья их живет совершенно нормально и ничего странного у них на ферме не происходит.

Слухи о необычных способностях этой девочки, конечно, распространялись. Люди приходили к ней под покровом темноты. Став старше, эта девушка сама находила пути общения с теми, кто нуждался в ее помощи. В здешних краях все знали, что во второй половине дня и до сумерек она обычно бродила по лесной окраине среди деревьев, а ее сокол, поохотившись в лесу, возвращался обратно на кожаную перчатку ее руки. Она выходила с птицей на прогулку вечерами, и, если у вас возникала нужда, вы могли тоже погулять там.

По просьбе нуждающегося фермерская дочь – теперь уже молодая женщина – могла снять соколиную перчатку и подержать его руку всего минутку, сжимая ее между большим и указательным пальцами, где сосредотачивались все внутренние силы, а потом рассказать, что она почувствовала. Некоторые говорили, что испытывали странное ощущение, головокружение и опустошение, словно она вытягивала из них все силы; другие убеждали, что испытывали прилив сил и оживление, как после теплого ливня. Ее птица с предостерегающими криками кружила в небе, раскинув крылья.

Как говорили, ту девушку звали Агнес.

* * *

Такова мифическая история о детстве Агнес. Сама она могла бы поведать другую историю.

На ферме держали овец, и их нужно было кормить, поить и заботиться о них, несмотря ни на что. Их приходилось выгонять на пастбище и загонять обратно, переводя время от времени с одного выгона на другой.

Дома в очаге горел огонь, и его нужно было поддерживать. Огонь приходилось разжигать и раздувать, чтобы он горел постоянно, и иногда ее мать раздувала его, сложив губы трубочкой.

Ее мать была весьма своеобразной особой в своих материнских проявлениях, и девочке с детства запомнились ее тонкие, но сильные лодыжки и то, что мать повсюду ходила босиком. Ее потемневшие от грязи ступни оставляли заметные следы на плитках пола, а порой они выхо-

дили из дома, оставляли позади ферму с овцами и, углубившись в лес, бродили по опавшим веткам, листве и мягким мхам. Материнская рука, теплая и крепкая, держала Агнес, не давая упасть. Если Агнес поднимали с лесной подстилки на материнскую спину, то девочка укрывалась ее волосами как плащом. И тогда мелькавший сквозь материнские пряди лес представлялся ей волшебным царством. «Смотрите, вот белочка», – говорила мать – и белка, взмахнув рыжеватым пушистым хвостом, тут же взлетала вверх по стволу, словно мать сама вызвала зверька из дупла, чтобы показать детям. «Смотрите, вон зимородок» – и тут же перед глазами девочки серебристый шелк ручья пронзала яркая птичка с блестящей голубовато-зеленой спинкой. «Смотрите, вот лещина», – говорила мать, заходя под развесистое дерево, трясла его ветви сильными руками, и вниз падали гроздочки гладких орешков в буроватых шапочках.

Ее братик, Бартоломью, с большими, удивленными глазами и раскрывавшимися белыми звездочками ладошками, примостился на материнской груди, поэтому оба они могли видеть друг друга и сплетать пальцы над округлыми плечами матери. Мать срезала зеленый тростник, сушила его, а потом сплетала из него кукол. Куклы получались одинаковыми, и Агнес с Бартоломью усаживали их бок о бок в ящик, откуда зеленоватые кукольные личики доверчиво взирали на потолочные балки.

Потом их мать умерла, и ее место около очага заняла мачеха, теперь она растапливала его дровами, раздувала пламя, переставляла горшки с пода на решетку, приговаривая: «Не трогайте, осторожно, горячо». Эта другая женщина выглядела более значительно и прятала свои светлые, скрученные в узел волосы под потемневшим от пота чепцом. От нее пахло овечьей шерстью и жиром. Красноватое лицо покрывали веснушки, словно на него попали брызги грязи из-под колес телеги. Ее звали Джоан, и это имя вызывало у Агнес воспоминания о какой-то воющей собаке. Она взяла нож и отрезала Агнес волосы, сказав, что у нее нет времени ежедневно причесывать их. Она взяла их тростниковых кукол и, заявив, что это дьявольские игрушки, бросила их в огонь. Когда Агнес обожгла пальцы, пытаясь вытащить оттуда их подпаленные фигурки, она рассмеялась и сказала, что Агнес получила по заслугам. На ноги она надевала какие-то башмаки. Но ее ноги никогда не выходили за ферму, не заходили в лес. Когда Агнес – без спросу – ушла в лес одна, мачеха стащила с ноги один из башмаков, задрала Агнес юбку и подметкой башмака больно отшлепала ее сзади по ногам, и эта странная и незнакомая боль настолько потрясла девочку, что она даже не заплакала. Вместо этого она смотрела на верхнюю балку, где ее настоящая мама привязала пучок трав к камню с дырочкой посередине. «Чтобы отогнать несчастье», – пояснила она. Агнес вспомнилось, как она делала это. Закусив губу, девочка приказала себе не плакать. Терпела, не сводя пристального взгляда с черной дырочки в мамином камне. Она думала о том, когда же вернется ее прежняя мама. И так и не заплакала.

Мачеха также стаскивала свой карающий башмак, если Агнес говорила: «Вы не моя мама», или если Бартоломью, еще плохо ходивший, случайно наступал на хвост собаке, или если Агнес пролила суп, или позволяла гусям выйти на дорогу, или если ей не удавалось аккуратно вылить ведро с пойлом для свиней в их корыто. Агнес стала сообразительной и шустрой. Осознала преимущества быть невидимой, научилась проходить по комнате, не привлекая внимания. Узнала, что скрытое в человеке зло может выйти наружу, если, скажем, умудриться добавить немного настоя пузырчатки в питье этого человека. Она узнала, что если листьями лианы, сорванными со ствола дуба, натереть постельное белье, то спящему там человеку будет обеспечена бессонная ночь. Узнала, что если возьмет отца за руку и приведет на задний двор, где Джоан вырвала с корнем все лесные растения, то ее отец онемееет и замкнется в себе, а Джоан потом будет вопить, объясняя, что не имела в виду ничего плохого, что она просто приняла их за сорняки. И еще ей пришлось узнать, что после этого Джоан будет исподтишка щипать ее под столом до красных синяков и ссадин.

То было суматошное время, неумолимо сменяли друг друга тяжелые хлопотливые сезоны. Жизнь проходила в сумрачных, дымных комнатах. С постоянным жалобным блеянием овец. С отцом, редко бывавшим дома, постоянно занятым уходом за скотиной. В неустанных попытках не тащить грязь в дом. В постоянном стремлении удержать Бартоломию подальше от очага, подальше от Джоан, от мельничного пруда, от повозок на дороге и от лошадиных копыт, подальше от ручья и взмахов косы на лугу. Больных ягнят тогда держали в корзине возле очага, они сосали молоко из пропитанных им тряпиц и жалобно блеяли на всю комнату. Ее отец во дворе уверенно стриг ножницами овец, зажимая их между коленей, а животные лишь в ужасе таращили глаза. Овечья шерсть падала на землю темными тучами, и каждая из овец убегала от него другим существом – похуевшим и костлявым, с молочно-светлой шкурой.

Все вокруг твердили Агнес, что у нее не было никакой другой матери. «Что за чепуху ты несешь?» – удивленно восклицали они. Если же девочка упорствовала, они меняли тактику. «Пора тебе забыть родную мать, да и что ты вообще можешь помнить». Она отвечала, что они не правы; она топала ногами; колотила кулачками по столу; истошно, по-птичьи, визжала в знак протеста. Почему ей все вралли? Почему настаивали на такой лжи, на глупом обмане? Она же помнила. Она все помнила. Агнес пожаловалась на это вдове аптекаря, она жила на краю деревни и занималась пряжей шерсти; старушка продолжала нажимать педаль прялки, словно Агнес ничего не говорила, но чуть позже кивнула головой. «У твоей матери, – сказала она, – было чистое сердце. Да в ее мизинце было больше доброты, – она подняла свою узловатую, жилистую руку, – чем во всех этих болтушках, вместе взятых».

Агнес помнила все. Все, за исключением того, куда и зачем ушла мама.

По вечерам Агнес шепотом рассказывала Бартоломию о женщине, любившей гулять с ними по лесу, о том, как она привязывала травы к камню с дырочкой, делала им кукол из тростника, выращивала разные растения на грядках за домом. Она помнила все это. Почти все.

А потом однажды днем за свинарником она увидела отца, он прижал коленом к земле ягненка и резко вспорол ему шею ножом. Это зрелище с его запахом и цветом вызывало в памяти какую-то пропитанную красным кровать и комнату с жуткой кровавой резней. Она смотрела на отца, пристально и напряженно вглядывалась в него, но видела совсем другое, видела кровать с блестящим посередине алым цветком, а потом перед ее мысленным взором появился узкий ящик. В нем, она знала, лежала ее мать, но не такая, какой она была обычно. Уже тогда мать стала другой. Бледная, как воск, холодная и тихая, она обнимала руками сверток со скорбным и сморщенным кукольным личиком. А ночью тайно пришел священник, этого священника Агнес никогда раньше не видела. Он расхаживал в длинном балахоне и, размачивая над ящиком горячей чашей, бормотал нараспев какие-то неведомые слова. Сдерживая рыдания, отец сказал тогда Агнес: «Нельзя никогда говорить соседям и вообще никому, что этот священник приходил и произносил волшебные слова над этой восковой женщиной и скорбным ребенком». Перед уходом священник подошел к Агнес, прижал большой палец к ее лбу и, глядя прямо ей в глаза, сказал уже на знакомом языке: «Бедный агнец».

Агнес сообщила о своих воспоминаниях отцу, стоявшему над другим агнцем с алым, пульсирующим разрезом на шее. Она кричала – вопила во весь голос, вопль зарождался в глубине ее груди, шел из самого сердца. Она твердила: «Я помню, я знаю все это... Я все помню...»

«Тише, милая, – произнес он, повернувшись к ней, – ты не можешь ничего помнить. Замолчи сейчас же. Не говори глупостей. В ту ночь не было никакого священника. И он не касался твоей головы. Никогда больше не произноси такой ерунды. Нельзя, чтобы твоя мать услышала это».

Агнес не поняла, имел ли он в виду Джоан, ту распорядившуюся теперь в доме женщину, или ее родную мать, поднявшуюся на небеса. Ей казалось, что весь мир вдруг раскололся, как яйцо. Небеса над ней могли в любой миг разверзнуться и обрушиться на всех них ливни огня

и пепла. На периферии ее зрения, казалось, парили темные, расплывчатые образы. Большой дом, свинарник, ее братья и сестры во дворе, все казалось одновременно далеким и невыносимо близким. Она знала, что к ним приходил священник. Почему отец притворялся? Она помнила крест на его шее и как отец приложился к кресту и поцеловал его, помнила, какие дымные струи оставляла та чаша в воздухе над ее матерью с младенцем, как священник без конца произносил имя ее матери в таинственных молитвах: «Ровена... Ровена...» Так же, как говорила ей мать, называлось и красивое дерево рябина с красными горькими ягодками. Она помнила, как священник сказал ей: «Бедный агнец». А ее отец говорил: «Замолчи, никогда не произноси такой ерунды», – поэтому она убежала от него и от того ягненка, уже вялого и обескровленного, мало чем отличавшегося теперь от мешка с мясом и костями, убежала в лес, где выкрикнула все свои воспоминания деревьям, листьям и ветвям, где никто не мог ее услышать. Она цеплялась за колючие ветки ежевики, больно пронзавшие ее кожу, она взывала к Богу из той церкви, куда они чинно ходили каждое воскресенье, таща малышей на спинах, той церкви, где нет никакого дыма, никаких чаш и не слышно таинственных неведомых слов. Она взывала к нему, выкрикивала его имя. «Ты, – говорила она, – ты, ты же слышишь меня, я не желаю больше знать тебя. Теперь я хожу в твою церковь, потому что должна, но не скажу там ни слова, потому что после смерти ничего нет. Есть земля и есть тело, а больше нет ничего».

Она высказала свои мысли вдове аптекаря, и ее слова вынудили старушку отвлечься от дел. Колесо прялки замедлило вращение, женщина пристально посмотрела на девочку. «Никогда никому больше не говори этого, – скрипучим голосом сказала она Агнес. – Никогда. Иначе ты навлечешь на свою голову семь язв божиих».

Агнес росла, видя, как мачеха в туфлях обнимала и ласкала своих симпатичных, пухлых детишек. Она присматривала за домом, заботилась, чтобы ее детки всегда питались свежайшим хлебом, и подкладывала им на тарелки самые вкусные кусочки мяса. Агнес приходилось жить с ощущением того, что сама она ущербна, неполноценна в каком-то смысле и даже нежеланна. Именно ей велели подметать полы, менять детям пеленки, укачивать их перед сном, выгребать золу из очага, раздувать угли и разводить огонь. Она узнала и поняла, что любой несчастный случай, любая оплошность – упавшая тарелка, разбитый кувшин, запутанное вязанье, тесто, которое не поднялось в печи, – почему-то будет считаться ее виной. Она росла, понимая, что должна оберегать и защищать Бартоломею от любых жизненных ударов, потому как больше некому. Он единственный в этом мире целиком и полностью родной ей по крови. Она росла с потаенным внутренним огнем: он ласкал, согревал и предостерегал ее. «Тебе нужно держаться подальше от них, – говорил ей этот пылкий внутренний голос, – ты должна уйти».

Агнес редко – если вообще такое бывало – что-то умиляло, трогало до глубины души. Она росла с острой жаждой ласки: любящего прикосновения к ее рукам, волосам, спине, чьей-то мягкой нежности. Человеческого отпечатка доброты, доброжелательного чувства. Мачеха и близко к ней не подходила. Младшие братья и сестры хватались и цеплялись за нее, но ей не хватало иных порывов.

Ее очаровывали руки людей, тянуло прикоснуться к ним, ощутить их в своих руках. Ее непреодолимо привлекала мышца между указательным и большим пальцами. Она могла быть закрытой и открытой, как клюв птицы, именно там сосредотачивалась вся сила захвата, вся сила восприятия. Оттуда можно почерпнуть ощущение способностей человека, его размаха, его сущности. В этом месте сосредотачивалось все, что люди хранили, оберегали, все их тайные помыслы и устремления. Она осознала, что способна выяснить о человеке все, что нужно знать, просто сжав его руку в этом месте.

Лет в семь-восемь, не больше, один из гостей позволил Агнес подержать его руку так, как ей хотелось, и в итоге Агнес сказала: «Вы встретите свою смерть в этом месяце», – и разве не сбылись ее слова, разве не слег этот гость на следующей неделе с болотной лихорадкой? Она точно предсказала пастуху, что он упадет и повредит ногу, что ее отец попадет в грозу,

что ребенок заболел во второй день рождения, что человек, пожелавший купить у ее отца бараньи шкуры, обманщик, что торговец у задней двери имеет серьезные виды на их кухонную служанку.

Джоан и отец не на шутку встревожились. Такая способность не пристала доброй христианке. Они умоляли ее прекратить трогать руки людей, чтобы скрыть свой странный дар. «Ничего хорошего из этого не получится, – сказал отец, склонившись к Агнес, сидевшей возле очага, – совсем ничего хорошего». Когда она захотела взять его за руку, он отдернул ее.

Она росла, чувствуя себя виноватой, никому не нужной, слишком скрытной, слишком высокой, слишком непослушной, слишком упрямой, слишком молчаливой, в общем – слишком странной. Росла с осознанием того, что ее просто терпят как досадно никчемную, ни на что толком не годную девочку, что она не заслуживает любви, что ей нужно существенно измениться, сломить свой упрямый нрав, если она собирается выйти замуж. Агнес росла также с воспоминаниями о том, что означало быть по-настоящему любимой, когда любят просто за то, какая ты есть, а не за то, какой тебе следовало бы быть.

Она надеялась, что достаточно живо хранить это воспоминание, и тогда она сможет узнать любовь, если вновь встретит ее. А уж если встретит, то не станет раздумывать и сомневаться. Она ухватится за нее обеими руками, как за спасительный плот, ради выживания. Она не станет слушать ничьих возражений, протестующих увещаний и досужих рассуждений. Это будет ее шанс, ее путь на свободу через узкое отверстие в сердце камня, и ничто не заставит ее уклониться с этого пути.

* * *

Пыхтя и отдуваясь после пробежки по городу, Хамнет устало поднимался по лестнице. Казалось, пробежка истощила все его силы, он с трудом переставлял ноги со ступеньки на ступеньку. Да еще и помогал себе подниматься, хватаясь за перила.

Конечно, он не сомневался, что, забравшись на второй этаж, уже увидит там свою мать. Изогнувшись дугой, она склонится над постелью, где лежит Джудит. Она заправит постель свежими простынями, чтобы Джудит стало удобнее лежать. Ее побледневшее лицо будет понимающим, настороженным и уверенным. Агнес даст ей целебную настойку; Джудит поморщится от ее горечи, однако честно все проглотит. Снадобья его матери могут исцелить любую болезнь – это всем известно. Люди приходят со всего города, приезжают со всего Уорикшира и даже из других графств, чтобы поговорить с его матерью через окно их узкого флигеля, описать их симптомы, рассказать ей, что у них болит и что они вытерпели. Некоторых из них она приглашала зайти в дом. В основном приглашала женщин, усаживала их возле камина на удобное кресло, держала их за руки, потом растирала в ступке какие-то корешки, травы и цветочки. А уходили они с успокоенными, посветлевшими лицами, унося с собой тряпичный сверток или маленькую бутылочку, закупоренную бумажной пробкой, пропитанной пчелиным воском.

Его мать, разумеется, уже дома. Она быстро вылечит Джудит. Она умела прогонять любую болезнь, исцелять самые тяжкие недуги. Она сразу поймет, как помочь дочке.

Хамнет вошел в верхнюю комнату. Но увидел там лишь свою сестру, по-прежнему в одиночестве лежавшую на кровати.

Подходя к ней, он заметил, что пока он бегал за доктором, девочка стала еще более вялой и бледной. Кожа вокруг глаз приобрела синевато-серый оттенок, похожий на синяки. Ее дыхание было теперь поверхностным и частым, и глаза под закрытыми веками двигались из стороны в сторону, словно она рассматривала что-то неведомое ему.

Ноги Хамнета подогнулись, и он опустился на край кровати. Он слышал, как часто и надсадно дышала Джудит. Звуки ее дыхания немного успокоили его. Он осторожно притронулся пальцем к ее мизинцу. Слезинка выкатилась из его глаза, упала на простыню и скатилась с нее.

Упала вторая слеза. Хамнет почувствовал собственную никчемность. Он понял всю бесполезность своих попыток. Ему нужно было позвать кого-то из родителей, бабушку или дедушку, кого-то из взрослых, или позвать врача. А не удалось найти никого из них. Мальчик зажмурил глаза, пытаясь удержать слезы, и уткнулся головой в колени.

* * *

Примерно через полчаса в заднюю дверь дома вошла Сюзанна, она оставила корзину на стуле и устало села к столу. С несчастным видом обвела взглядом комнату. Огонь потух; все куда-то разошлись. Мать обещала, что скоро вернется, но пока не вернулась. Мать сама никогда толком не знала, когда сможет вернуться.

Сняв чепец, Сюзанна бросила его рядом на лавку. Он соскользнул и упал на пол. Сюзанна подумала, что надо бы наклониться и достать его, но поленилась. Вместо этого она нашарила чепец носком туфли и отбросила подальше. Она вздохнула. Ей уже почти четырнадцать лет. Все вокруг – вид горшков, скопившихся на столе, пучки трав и цветов, привязанные к балкам, соломенная кукла сестры на подушке, кувшин, стоявший на камине, – все вызывало в ней глубокое и непостижимое раздражение.

Она встала. Приоткрыла окно, впустив в комнату немного воздуха, однако с улицы пахнуло лошаадьми, нечистотами и еще чем-то прогорклым и гниющим. В сердцах девочка захлопнула оконную раму. На мгновение ей показалось, что сверху доносится какой-то шум. Неужели все-таки кто-то уже дома? Она постояла немного, прислушиваясь. Но, увы, больше не услышала ни звука.

Она опустила в удобное кресло, то самое, куда ее мать усаживала посетителей, которые крадучись проходили в дом, обычно поздно вечером, чтобы шепотом поведать ей о своих бедах: кровотечениях или их тревожном отсутствии, о сновидениях и знаменьях, болезнях и трудностях, о любовных тревожениях и докучливых симпатиях, лунных циклах, предсказаниях и приметах, о перебежавшем дорогу зайце, о залетевшей к ним в дом птице, о потере чувствительности в конечностях, о слишком острой чувствительности в других частях тела, о сыпи, кашле, болячках, о каких-то блуждающих приступах боли, появлявшихся то в ушах, то в ногах, то в груди, то в сердце. Мать выслушивала все, склонив голову, кивала и сочувственно цокала языком. Потом она брала их за руку, и тогда взгляд ее полузакрытых глаз устремлялся вверх, к потолку, и рассеянно блуждал по комнате.

Некоторые спрашивали Сюзанну, как ее мать узнает все их тайны и болезни. Порой они украдкой подходили к ней на рынке или на улице, чтобы спросить, как Агнес угадывает, в чем они нуждаются, а что им вредит, отчего бывают нарывы, как она узнает то, что тревожит их души, или чего они жаждут, или как она догадывается о сокрытых в сердце человека желаниях.

Раньше их вопросы побуждали Сюзанну лишь к тоскливым вздохам и уклончивым ответам. Теперь уже, если кто-то интересовался необычными способностями ее матери, она научилась отвлекать их и под уместным предлогом начинала сама задавать вопросы об их родне, о погоде, видах на урожай. Теперь она научилась различать своеобразную неуверенность или сомнения на лицах людей, предварявшие начало подобных вопросов. Почему эти люди не понимали, что такие разговоры не доставляли ей ни малейшей радости? Как может быть непонятно, что все это не имеет к ней никакого отношения – все мамины травы, семена, горшки и склянки с порошками, корешками и цветами, из-за которых комната воняла, как навозная куча, и все эти постоянно что-то шепчущие и плачущие страдальцы, и таинственное прошупывание рук? В детстве Сюзанна просто и честно отвечала: что она сама ничего не знает, что это подобно волшебству или дару свыше. Теперь, однако, она отвечала отрывисто и грубо. «Я понятия не имею, – могла сказать она, – о чем вы толкуете», – и, вскинув голову, она задирала нос, словно принималась к чему-то.

«И куда же теперь запропастилась моя мать? – Размышляя об этом, Сюзанна то скрещивала ноги в лодыжках, то ставила их рядом. – Вероятнее всего, бродит по окрестным лесам, переходя вброд пруды, собирает какие-то семена, перелезает через изгороди, чтобы собрать те или другие травы и растения, таскается повсюду в своих оборванных юбках и грязных ботинках». Другие матери в городе заботливо намазывают маслом хлеб или кормят детей тушеным мясом с овощами. А мать Сюзанны? Как обычно, выставит себя на посмешище, остановившись, чтобы поглазеть на облака, или пошептать что-то на ухо мулу, или насобирать одуванчиков в подол фартука.

Сюзанна вздрогнула, услышав стук в стекло. Замерев, она вжалась в кресло. Стук повторился. Заставив себя подняться, она поплелась к окну. За перекрестьем свинцовой рамы и грязным стеклом ей удалось разглядеть светлую дугу чепца и бордовый лиф платья: значит, явилась какая-то зажиточная дама. Увидев Сюзанну, женщина опять постучала, дополнив стук повелительным, властным жестом.

Не шелохнувшись, Сюзанна и не подумала открыть окно.

– Ее нет дома, – заявила она, отстраняясь от окна, – приходите позже.

Развернувшись на каблуке, девушка удалилась обратно к креслу. Женщина еще пару раз стукнула по раме, а потом Сюзанна услышала, как она уходит.

Люди, люди, люди, вечно они приходят и уходят, приезжают и уезжают. Сюзанна с двойняшками и матерью могли собраться за столом, чтобы поесть похлебку, когда вдруг раздавался чей-то требовательный стук, и мать сразу небрежно отставляла в сторону свой суп, а ведь Сюзанна так старалась сварить вкусную похлебку из куриных костей и морковки, приложила массу усилий, чтобы перемыть, почистить и опять сполоснуть чистой водой все ингредиенты, не говоря уж о долгом времени, проведенном в жаркой кухне, где она старательно снимала пену и помешивала кипящее варево. Иногда Сюзанне казалось, что Агнес не только ее мать – ну и двойняшек, разумеется, – но мать целого города, даже целого графства. Закончится ли он вообще когда-нибудь, этот неизбывный людской поток, проходящий через их дом? Оставят ли их когда-нибудь в покое, позволив им жить обычной семейной жизнью? Однажды Сюзанна случайно услышала слова бабушки: «Не понимаю, зачем ты, Агнес, занимаешься этим делом, можно подумать, что вы нуждаетесь в деньгах, – и вяло добавила: – Да и платят-то вам не шибко щедро». Мать ничего не ответила, даже не подняв голову от своего шитья.

Сюзанна обвила пальцами резные закругления на концах подлокотников – отполированные множеством ладоней, они стала гладкими, как яблоки. Продвинувшись в глубину кресла, она откинулась на его спинку. В этом кресле любил сидеть отец, когда приезжал домой. Два, три, четыре или пять раз в году. Иногда жил с ними неделю, иногда дольше. Днем он уносил это кресло наверх, где трудился, склонившись над столом; а спускаясь вечером, приносил его обратно, чтобы посидеть у камина. В свой последний приезд он погладил ее по щеке и сказал: «Я вернусь при первой возможности. Ты же знаешь, что так и будет». Он опять собирался уезжать – укладывал в дорожную сумку рулоны густо исписанной бумаги, запасную рубашку, книгу, которую сам прошил кожаным шнуром и переплел в свиную кожу. Мать ушла, исчезла в неизвестном направлении, она не хотела видеть, как он уезжает.

Он писал им письма, и мать их старательно читала, перебегая пальцем от слова к слову, ее губы шевелились, формируя звуки. Мать умела немного читать, а писала совсем плохо, с трудом выводя похожие на буквы каракули. Ответы за них раньше писала их тетя Элиза – у нее красивый почерк, – но теперь письма пишет Хамнет. Шесть дней в неделю он ходит в школу и торчит там с утра до вечера; он научился быстро записывать то, что ему говорят, читает книжки на латинском и греческом языках и строчит колонки каких-то цифр. Скрипит гусиным пером, точно курица лапой, копающаяся в грязи. Их дедушка с гордостью говорил, что именно Хамнет продолжит перчаточное дело после его ухода, что у этого пацана настоящая голова на плечах, что он, хоть и ученый, а хватка у него деловая с рождения, он единственный из них обладает

мало-мальским здравым смыслом. Хамнет корпел над своими учебниками, не подавая виду, что слышит слова деда, все они, сидевшие у камина, видели только его макушку да косою пробор, извивавшийся, точно ручеек, в его волосах. В письмах отца говорилось о деловых контрактах, бесконечных трудах и толпах зрителей, которые швырялись гнилыми плодами, если им не нравилось то, что они слышали, о большой лондонской реке, о конкурировавшем с ними владельце другого театра, о том, как он выпустил крыс из мешка в кульминационный момент их новой пьесы, о заучивании стихов, бесконечных стихов, о пропаже костюмов, о пожаре, о репетициях спектакля, где актеры спускаются на сцену по канатам, о трудностях нахождения пропитания при переездах из города в город, о падавших декорациях, об утерянном или украденном реквизите, об увязавших в грязи повозках с соскочившими колесами, о трактирах, где им отказывали в ночлеге, о сбереженных им деньгах, о поручениях их матери, о том, с кем ей надо поговорить в городе, об участке земли, который он хотел бы приобрести, о каком-то выставленном на продажу доме, о земле, которую им надо купить и сдать в аренду, и в заключение обычно передавал всем сердечные приветы, писал, как скучает без них, и как ему хочется расцеловать их всех по очереди, и как он не может дождаться, когда снова окажется дома.

Вот если бы в Лондон пришла чума, то отец смог бы надолго вернуться к ним. Все театры тогда закроют по указу королевы, и будет запрещено устраивать любые публичные зрелища. «Грешно призывать чуму», – говорила ей мать, но Сюзанна все равно шепотом несколько раз просила Бога об этом, закончив все положенные вечерние молитвы. А потом всегда осеняла себя крестным знаменем. Ей все равно хотелось, чтобы Бог исполнил ее мольбы. Ведь тогда отец мог бы надолго вернуться к ним, провести дома не один месяц. И Сюзанна порой думала, что ее матери этого тоже втайне хотелось.

Лязгнула задвижка, задняя дверь открылась, и в комнату вошла ее бабушка, Мэри. Она совсем запыхалась, лицо ее покраснело, и под мышками расплылись темные влажные полукружья.

– Ну и что это ты здесь расселась, как барыня? – язвительно произнесла Мэри.

Вид празднично сидевшего человека вызывал у бабушки самое сильное негодование.

Сюзанна пожала плечами. Она провела кончиками пальцев по потертой обивке кресла.

Мэри окинула комнату взглядом.

– Где двойняшки? – спросила она.

Сюзанна вяло повела плечом.

– Неужели ты не видела их? – продолжила Мэри, вытирая пот со лба носовым платком.

– Нет.

– Я же велела им, – проворчала Мэри, подняв с пола упавший чепец Сюзанны и положив его на стол, – нарубить растопки и развести огонь на кухне. И ты думаешь, они сделали это? Нет, палец о палец не ударили. Когда доходит до дела, они оба предпочитают играть в прятки.

Она решительно развернулась и, подбоченившись, встала перед Сюзанной.

– А где твоя мать?

– Не знаю.

Мэри выразительно вздохнула. Словно хотела сказать что-то. Но промолчала. Сюзанна поняла ее, даже почувствовала, как эти произнесенные слова вертятся между ними, точно флюгер под ветром.

– Ладно, тогда пошли со мной, – велела Мэри, махнув Сюзанне полой фартука, – пошевеливайся. Ужин сам не приготовится. Поможешь нам, девочка, вместо того, чтобы рассиживаться здесь, как клуша.

Мэри взяла Сюзанну за руку и стащила с кресла. Они вышли во двор, и задняя дверь сама захлопнулась за ними.

Хамнет в верхней комнате вздрогнул и очнулся.

* * *

Внезапно преподавание латыни стало казаться ему прекрасным занятием. В те дни, когда его ждали уроки в «Хьюлэндсе», репетитор теперь вскакивал с петухами, убирал кровать и тщательно мылся. Он старательно расчесывал волосы и бородку. За завтраком быстро наполнил тарелку, но вскакивал и уходил, оставив несъеденной половину еды. Помогал своим братьям собрать книги и, проводив их на улицу, отправлял в сторону школы, махнув рукой на прощанье. Как известно, он вечно что-то бубнил и мурлыкал себе под нос, даже когда почти кивал, приветствуя отца. Сестра украдкой подсматривала, как он, посвистывая и глядя на свое отражение в окне, застегивал свой джеркин то так, то эдак, приглаживал волосы, то заправляя боковые пряди за уши, то опять выпуская их на свободу, и наконец выскакивал из дома, хлопнув дверью.

В свободные от занятий в «Хьюлэндсе» дни он валялся в кровати до тех пор, пока отец не начинал угрожать отдубасить его, если он немедленно не встанет. Однако, поднявшись, он продолжал, вздыхая, слоняться по дому, не слышал ничьих вопросов, рассеянно жевал хлебную краюху, бесцельно переставлял с места на место вещи. Его видели и в мастерской, где он, облокотившись на прилавок, перебирал пары женских перчаток, словно пытался выискать скрытые огрехи в швах их вялых пальчиков. Потом он опять вздыхал и беспорядочно сбрасывал их обратно в ящик. Стоя над Недом, сшивавшим охотничий пояс, он так близко склонялся к нему, что ученик предпочел вовсе отложить работу, вынудив Джона прикрикнуть на него, пригрозив выгнать и напомнив, что от улицы его отделяет всего одна дверь.

– А ты, – обратился Джон уже к сыну, – убирайся отсюда. Найди себе какое-то полезное занятие. Ежели ума хватит. – Недовольно покачав головой, Джон опять сосредоточился на вырезании из беличьей кожи нужных узких полосок. – Шибко ученый стал, – пробурчал он себе под нос, глядя на прихотливую форму маленького лоскута кожи, – да ни капли здравого смысла.

* * *

Позднее мать послала за ним его сестру Элизу. Обойдя нижний этаж и двор, девушка поднялась на верхний этаж и принялась заходить по очереди в каждую спальню: свою, братьев и родителей, и, никого не обнаружив, направилась обратно к лестнице, продолжая звать брата.

Чуть погодя, она услышала его ответ, однако голос брата звучал вяло, сердито и недовольно.

– Где ты там? – удивленно крикнула Элиза, покрутив головой.

И вновь последовала долгая пауза, показывавшая его нежелание общаться.

– Да здесь, наверху, – наконец проворчал он.

– Где? – озадаченно произнесла она.

– Ну, здесь же.

Выйдя из родительской спальни, Элиза стояла около лестницы, ведущей на чердак. Она вновь позвала его.

Вздых. Загадочное шуршание.

– Что тебе нужно?

На мгновение Элиза подумала, что он, возможно, спрятался там, чтобы заняться тем, чем занимаются иногда мальчишки, вернее юноши. Имея достаточно братьев, она знала, чем они иногда увлекают себя в уединении, и тогда сердятся, если им мешают. Помедлив у подножия узкой приставной лестницы, она положила руку на ступеньку.

– Можно мне... подняться?

Молчание.

– Ты не заболел?

– Нет, – донеслось после очередного вздоха.

– Мама спрашивала, не мог бы ты сходить к кожевникам, а потом к...

Сверху донесся сдавленный, нечленораздельный стон, сменившийся громким весомым ударом в стену, словно в нее швырнули ботинок или буханку хлеба, потом странный шорох и глухой удар – похоже, ее брат встал и треснулся головой о балку.

– О-ох, – взвыл он и выпустил череду проклятий, на удивление выразительных, среди которых попадались неведомые Элизе слова, она решила, однако, что спросит об их значении позже, когда брат будет в более благодушном настроении.

– Я поднимаюсь, – заявила она, начиная забираться по перекладинам лестницы.

Просунув голову в люк на потолке, она забралась на теплый и пыльный чердак, освещенный только двумя свечами, закрепленными на какой-то подставке. Брат расстроено сидел на полу, обхватив голову руками.

– Дай посмотрию, – сочувственно произнесла она.

Он пробурчал что-то невнятное, пожалуй, даже еретическое, однако понятное по смыслу: ему определенно хотелось, чтобы она ушла, оставив его в покое.

Убрав его пальцы со лба, Элиза поднесла поближе свечу и осмотрела поврежденное место. В верхней части лба, непосредственно под линией роста волос уже надувалась багровая шишка. Элиза потрогала ее внешние края, заставив брата поморщиться.

– Гм-м, – задумчиво протянула она, – у тебя бывали шишки и побольше.

Он поднял взгляд, и они переглянулись. На губах его мелькнула слабая улыбка.

– Уж это точно, – признал он.

Убрав руку с его лба, но продолжая держать свечу, девушка присела на один из втиснутых под крышу тюков с шерстью. Они хранились там уже несколько лет. Однажды, прошлой зимой, когда они заворачивали перчатки в ткань, аккуратно складывая их в корзины на тележке, ее брат вдруг подал голос и спросил, почему чердак забит тюками с шерстью и для чего они предназначены? Перегнувшись через тележку, отец схватил сына за грудки. «В доме нет никаких тюков с шерстью», – внушительно произнес он, с каждым словом встряхивая сына. – Ясно?» Брат Элизы упрямо, напряженно и долго смотрел на отца, не отводя взгляда. «Достаточно ясно», – наконец ответил он. Продолжая сжимать в кулаке полы джеркина сына, отец, казалось, раздумывал, не слишком ли дерзок таков ответ, но в итоге отпустил его. «Не смей говорить того, что тебя не касается», – процедил Джон, возвращаясь к укладке товара, и все во дворе испустили сдерживаемые вздохи облегчения.

Элиза с удовольствием покачалась на тюке шерсти, наличие которой их обязали отрицать. Брат пристально глянул на нее, но промолчал. Откинув голову назад, он задумчиво уставился на стропила.

«Возможно, – подумала она, – он вспоминает о том, что этот чердак всегда был любимым местом их тайных сборищ – ее и его, и еще сестры Анны, до того как она умерла».

После того как он днем приходил из школы, они втроем поднимались сюда и втягивали за собой лестницу, не обращая внимания на нытье и мольбы младших братьев. Тогда здесь было просторно, валялись лишь несколько забракованных рулонов кожи, которые их отец по неведомой причине решил сохранить. Никто не мог добраться до них на этом чердаке; они втроем спокойно играли там до тех пор, пока мать не призывала их вниз, чтобы выполнить какие-то поручения или присмотреть за кем-то из младших детей.

Элиза не догадывалась, что ее брат по-прежнему прячется здесь; она не знала, что он все еще пользуется их убежищем, скрываясь от домочадцев или хозяйственных дел. Сама она не забиралась по чердачной лестнице с тех пор, как умерла Анна. И сейчас, сидя рядом с братом, обвела помещение блуждающим взглядом: над ней нависала скошенная, крытая черепицей

крыша, а все вокруг было забито тюками тайно хранившейся здесь шерсти. Она заметила еще старые огарки свечей, складной нож и склянку чернил. На полу валялись смятые листы испи-санной бумаги, некоторые строчки на них были зачеркнуты, вновь написаны и опять перечерк-нуты, потом, видимо, бумагу скомкали и отбросили в сторону. А кончики большого и указа-тельного пальцев ее брата вокруг ногтей потемнели от чернильных пятен. Что, интересно, он тайно изучает здесь?

- Что-то случилось? – спросила она.
- Ничего, – не глядя на нее, буркнул он, – ровно ничего.
- У тебя что-то болит?
- Нет.
- Тогда что ты здесь делаешь?
- Ничего.

Она присмотрелась к листам скомканной бумаги. Разобрала слова «никогда» и «огонь» и еще какое-то слово: то ли «облако», то ли «яблоко». Вновь взглянув на брата, она заметила, что он, приподняв брови, поглядывает на нее. На губах ее невольно промелькнула улыбка. Только он в доме – на самом деле во всем городе – знал, что она выучила буквы и умела читать. И как же он мог не знать? Ведь он сам учил читать ее и Анну. Каждый день здесь после его возвращения из школы. К примеру, он чертил на пыльном полу букву и говорил: «Смотри, Элиза, смотри, Анна, это буква “д”, вот эта – “о”, а последняя – “м”, – все вместе читается как “дом”. Поняли? Вам нужно соединить эти звуки, произнести их слитно подряд, пока смысл самого слова и его написание не запомнятся».

– Неужели «ничего» – единственное слово, которое ты можешь сказать? – спросила сестра.

Заметив, как зашевелились его губы, она поняла, что он вспоминает свои уроки риторики и аргументации, подыскивая для ответа единственно верное слово.

– Не можешь, – довольно продолжила она, – не можешь, верно, не можешь подыскать способ ответить, как бы усиленно ни старался? Ты ведь не можешь ответить? Признайся.

– Не в чем мне признаваться, – торжествующе произнес он.

Они посидели немного, уставившись друг на друга. Элиза пристроила пятку одной туфли на носок другой.

– Люди поговаривают, – тщательно подбирая слова, сообщила она, – что тебя видели с той девушкой из «Хьюлэндса».

Она не стала упоминать о более грубых и обидных сплетнях, которые слышала о своем сидевшем без денег и без дела брате, не говоря уж о том, что он еще слишком молод, чтобы ухаживать за девушкой, пусть даже достаточно зрелой и с приличным приданым. Она сама слышала, как за ее спиной на рынке какая-то женщина тихо сказала: «Каким отличным выхо-дом это было бы для этого юноши. Разумеется, он предпочел бы жениться на особе с деньгами, чтобы избавиться от такого папаши».

Элиза решила ограничиться упоминанием о том, что люди говорили о той девушке. Что она настоящая дикарка и насылает проклятия на людей, что она может вылечить любую болезнь, но может и наслать ее. На днях она подслушала, как кто-то заявил: «За то, что мачеха отняла у нее сокола, она наслала на нее проклятье, и ее лицо покрылось белыми прыщами. И вообще, говорят, от одного ее прикосновения может скиснуть молоко».

Слыша такие заявления, сделанные в ее присутствии прохожими на улице, соседями или покупателями их перчаток, Элиза не притворялась, что ничего не слышала. Она замирала или останавливалась как вкопанная. И устремляла изумленный невинный взгляд на разнос-чика сомнительной сплетни (она знала, что обладала обезоруживающим взглядом, и ее братец довольно часто говорил ей: «Неотразимая сила твоего взгляда явно связана с невинной чисто-той глаз, особенно когда ты изумленно распахиваешь их и становится видна радужка»). Пусть

ей пока всего тринадцать лет, но ростом она опередила свой возраст. Девочка таращилась на сплетников достаточно долго, вынуждая их опустить глаза и смешаться от стыда, осознав ее смелость и суровый безмолвный укор. Внезапно она поняла, что молчание порой обладает великой силой. Как раз молчанию брату не удалось научиться.

– Я слышала, – продолжила она с обдуманной сдержанностью, – что вы ходите вместе гулять. После твоих уроков. Правда?

– И что с того? – не глядя на нее, буркнул он.

– По лесу гуляете?

Он пожал плечами с неопределенным видом.

– А ее мачеха знает?

– Да, – сразу, слишком быстро ответил брат и, помедлив, добавил: – Не знаю.

– А что, если...

Элиза задумчиво умолкла, сочтя свой вопрос слишком неловким; сама она имела смутное представление о том, что он может означать и какие важные действия или последствия может повлечь за собой.

– А что, если вас кто-то увидит? Пока вы гуляете там?

– Ну и пусть увидят. – Он опять пожал плечами.

– И тебя не останавливает такая мысль?

– С чего бы?

– Братец... – начала она, – тот овечий фермер. Разве ты не видел его? Он же такой здоровенный. Что, если он решит...

– С чего это ты так беспокоишься? – удивился брат, махнув рукой. – Он почти всегда пропадает на пастбищах со своими овцами. За все время, что я ходил в «Хьюлэндс», мне ни разу не довелось столкнуться с ним.

Скрестив руки, она вновь искоса глянула на скомканные бумажки, но не смогла понять смысла написанных на нем строк.

– Сомневаюсь, известно ли тебе, – робко заметила она, – что люди говорят о ней, однако...

– Мне известно, что о ней говорят, – отрывисто бросил он, прервав сестру.

– Многие утверждают, что она...

Он резко выпрямился и внезапно покраснел.

– Все это вранье. Полное вранье. Меня удивляет то, что ты придаешь значение такой пустой болтовне.

– Извини, – удрученно воскликнула Элиза, – но я просто...

– Все это вранье, – продолжил он, словно не слышал слов сестры, – распространяла ее мачеха. Она так завидует ей, что извивается как змея, лишь бы...

– Я испугалась за тебя! – закончила она.

– За меня? – Озадаченный, он пристально взглянул на сестру. – Но почему?

– Потому что... – Элиза помедлила, пытаясь упорядочить свои мысли, анализируя все слухи, – потому что наш отец никогда не согласится на это. Ты сам знаешь. Мы же в долгу перед той семьей. Отец даже никогда не упоминает их имени. А еще из-за того, что болтают о ней. Сама я не верю этому, – поспешно добавила она, – конечно, не верю. Но все-таки мне тревожно. Говорят, что ничего путного из этой вашей привязанности не выйдет.

Словно подкошенный, он опять плюхнулся на тюки с шерстью и закрыл глаза. Брат вдруг весь задрожал, но Элиза не поняла, то ли от ярости, то ли от иного возмущения. Они долго молчали. Потом она вспомнила, что еще хотела спросить, и подалась вперед.

– А у нее правда есть сокол? – с новым интересом прошептала она.

Он открыл глаза и поднял голову. Брат и сестра посмотрели друг на друга.

– Есть, – ответил он.

– В самом деле, совсем ручной? Я слышала, но не знала, можно ли верить...

– У нее живет пустельга, а не просто сокол, – порывисто произнес он, – она сама воспитала ее. А научил ее один священник. У Агнес есть специальная перчатка, и птица срывается с нее точно стрела и улетает в лес. Уверен, ты еще не видела ничего подобного. Она совершенно меняется в полете... можно подумать, что это два разных создания. На земле пустельга выглядит очень скромно, совсем не так, как в полете. А по зову Агнес птица возвращается и, полетав вокруг огромными кругами, стремительно и точно садится прямо на перчатку.

– Может, она и тебе разрешала? Надеть ее перчатку и поиграть с этим соколом?

– Пустельгой, – поправил он и кивнул, едва не просияв от гордости, – разрешала.

– Как бы мне хотелось, – вздохнув, еле слышно прошептала Элиза, – увидеть ее.

Он глянул на сестру, потер подбородок испачканными кончиками пальцев.

– Может быть, – произнес он, словно размышлял вслух, – когда-нибудь я возьму тебя погулять с нами.

Элиза пригладила платье, расправив смявшиеся складки. Ее охватил восторг, смешанный со страхом.

– Правда?

– Конечно.

– Как ты думаешь, она позволит мне запустить в небо своего сокола? Вернее, пустельгу?

– Не вижу причины для отказа. – Он задумчиво глянул на сестру. – Думаю, она тебе понравится. Вы с ней в каком-то смысле похожи.

Элизу потрясло это откровение. Неужели она чем-то похожа на женщину, о которой говорят столько всяких ужасов? Ведь только на днях в церкви она имела возможность видеть лицо хозяйки «Хьюлэндса» – все ее нарывы, прыщи и жировики, – и тогда мысль о том, что один человек способен так навредить другому человеку, ужасно встревожила ее. Хотя она не поделилась тревогой с братом, и более того, честно говоря, ей очень хотелось познакомиться с той девушкой, заглянуть в ее глаза. Именно поэтому Элиза и промолчала. Ее брат не любил, когда на него давили или подгоняли. К нему надо было подходить с осторожностью, как к норовистой лошади. Если расспрашивать его постепенно, исподволь, то обязательно узнаешь больше.

– И какой же тогда она человек? – спросила Элиза.

– Понимаешь, – задумчиво помедлив, ответил брат, – она не похожа ни на одного из твоих знакомых. Ее не волнует то, что люди могут о ней подумать. Она живет так, как подсказывает ей ее собственная натура. – Он сел поудобнее, упершись локтями в колени, и понизил голос до шепота. – Она умеет так умно посмотреть на человека, точно видит его насквозь, видит все, что творится в его душе. Но в ней нет ни капли жестокости. Она воспринимает человека таким, какой он есть, а не таким, каким пытается показаться, или каким ему следовало бы быть. – Он мельком глянул на Элизу. – Это же редкие качества, верно?

Элиза осознала, что несколько раз энергично кивнула в ответ. Ее поразили тонкости такого описания и честь быть удостоенной его.

– Это звучит... – Элиза умолкла, подыскивая нужное определение, вспоминая значения слов, какие он сам объяснял ей пару недель назад, – бесподобно.

Брат улыбнулся, и она поняла, что он тоже вспомнил, чему учил ее.

– Точно, Элиза, она именно такая. Бесподобная.

– И еще это звучит так, – начала она робко, еще более аккуратно, опасаясь насторожить его и побудить опять замкнуться в молчании, на самом деле ей даже не верилось, что он решился и на такую откровенность, – словно ты уже... сделал выбор. Что у вас уж все сладилось. С ней.

Брат ничего не сказал, просто вытянул руку и хлопнул ладонью по соседнему тюку с шерстью. На мгновение Элиза испугалась, что зашла слишком далеко, что он просто откажется продолжать разговор, встанет и уйдет, больше ничем с ней не поделившись.

– Ты уже разговаривал с ее родными? – осмелилась все-таки спросить она.

Он покачал головой и пожал плечами.

– Но собираешься поговорить с ними?

– Собираюсь, – пробурчал он, опустив голову, – но не сомневаюсь, что мне откажут. Они не сочтут меня подходящим женихом для нее.

– Может, если вы... подождете, – Элиза запнулась, коснувшись его плеча, – около года. Ведь тогда ты станешь совсем взрослым. И у тебя появится более определенный статус. Может, тогда и у отца дела наладятся, и ему удастся восстановить, хотя бы отчасти, свое положение в городе, возможно, его удастся убедить прекратить прятать эту шерсть и...

Брат передернул плечами и выпрямился.

– А ты когда-нибудь видела, – с горечью спросил он, – чтобы он послушался чьих-то увещаний, разумных советов? Разве он хоть раз менял свое мнение, даже если был не прав?

– Я просто подумала... – начала Элиза, поднявшись с тюка.

– И разве хоть когда-нибудь, – продолжил ее брат, – он пытался дать мне то, что мне нужно или хочется? Помнишь ли ты, чтобы он хоть раз оказывал мне поддержку? Разве ты видела, чтобы он не пытался нарочно помешать мне?

– Ну, может, если ты потерпишь, то со временем... – прочистив горло, начала Элиза.

– Дело осложняется тем, – перебил ее брат, стремительно пройдя по чердаку, отчего скомканые листы исписанной бумаги закружились вокруг его ботинок, – что у меня нет к этому таланта. Я не смогу вынести долгого ожидания.

Он повернулся, шагнул к лестнице и исчез из виду. Она видела, как два верхних конца лестницы задрожали под его шагами и замерли, когда он спустился.

* * *

Бесконечные ряды яблочек, медленно двигаясь, крутились и перекатывались на полках. Каждое яблоко свободно помещалось в специальной выемке, вырезанной в деревянных стеллажах, тянувшихся по стенам маленького амбара.

Яблочки крутились и подпрыгивали, покачивались и ударялись о боковины выемок.

Все плоды поместили сюда аккуратно, именно плодолистиками вниз, а черенками вверх. Нельзя, чтобы соседи соприкасались бочками. Они должны храниться всю зиму строго по отдельности, в небольших персональных выемках, разделенные маленькими перегородками, иначе испортятся. Если яблоки будут касаться друг друга, то начнут покрываться коричневыми пятнами, сморщиваться и загнивать. Их необходимо хранить в рядах выемок цветоножками вниз, создав между ними воздушные зазоры.

Эту обязанность в доме поручали детям: они срывали яблоки с ветвистых деревьев, складывали их в корзины, потом приносили сюда на яблочный склад и аккуратно укладывали на стеллажи так, чтобы они не касались друг друга и хранились всю зиму и весну, пока яблони не принесут новые плоды.

Однако что-то заставляло яблоки двигаться. Снова и снова, опять и опять, подталкивая и перемещая их.

Пустельга в колпачке сидела на своем месте, но вела себя настороженно, исключительно настороженно. Ее головка, опушенная пестрым перьевым воротничком, крутилась в разные стороны, пытаясь определить источники этого повторяющегося и приводящего в смятение шума. Ее ушки, настроенные так остро, что могли, если требовалось, услышать сердцебиение мышки за сотню футов, звук шагов лапок горноста в глубине леса, взмах крыла крапивника над полем, уловили следующее: сотни четыре яблочек беспокойно толкались, подпрыгивая в своих колыбельках. Улавливали они и звуки дыхания млекопитающих, слишком больших для возбуждения ее аппетита, учащающиеся бурные вздохи. Поглаживание ладоней по мышцам и

костям. Причмокивание и скольжение языка по зубам. Трение друг о друга двух слоев тканей разного качества.

Яблоки крутились вокруг своей оси; их цветоножки и черенки то появлялись сверху, то исчезали внизу. Ритм их кружения менялся: замедлялся, останавливался, опять начинал убыстряться и замедлялся вновь.

Поднятые ноги Агнес были разведены, как крылья бабочки. Ее ступни в ботинках лежали на противоположной полке; руки упирались в побеленную стену. Спина женщины то выпрямлялась, изгибалась, несомненно, согласно ее желаниям, из горла вырывались низкие, почти утробные стоны. Собственное поведение привело ее в изумление: ее тело заявляло о себе самым естественным образом. Откуда же оно знало, что делать, как откликаться, как расположиться и изгибаться? Ее согнутые ноги белели в тусклом свете, ягодицы покоились на краю полки, а пальцы рук держались за выступы каменной стены.

В узком пространстве между ней и противоположной полкой расположился репетитор латыни. Он находился в бледном разлете ее ног. Его глаза закрыты; пальцы прижаты к изгибу ее спины. Именно его руки развязали завязки на лифе ее платья, стянули с нее сорочку и обнажили девственные груди – и какими же трепетными и бледными выглядели они в том дневном свете; их розово-коричневые соски потрясенно встрепенулись. Именно ее руки, однако, подняли юбки, отбросив их назад на полку, и притянули к себе тело репетитора латыни. «Тебя, – сказали ему эти руки, – я выбрала тебя».

И вот оно явление страсти... полного слияния. Прежде она никогда не испытывала ничего подобного. Перед ее мысленным взором мелькали образы натягиваемой на руку перчатки, выскользывающего из овцы ягненка, разрубающего полено топора, ключа, проворачиваемого в хорошо смазанной замочной скважине. «Где же еще, – думала она, глядя в лицо репетитора, – может возникнуть такое точное совпадение, такое естественное ощущение полнейшего и совершенного совпадения?»

На тянувшихся в разные стороны от нее яблочных полках в своих выемках крутились и вертелись плоды.

Глаза репетитора латыни на мгновение открылись, черные от расширившихся зрачков, они казались незрячими. Он улыбнулся, обнял ладонями ее лицо, пробормотав что-то, и, хотя она не разобрала слов, в данный момент слова не имели значения. Их головы соприкоснулись. «Странно, – рассеянно подумала она, – видеть кого-то в такой близости: ошеломляющая резкость каждой черточки лица, длинных ресниц на закрытых веках, широкого лба, оттененного чернотой волос». Она не взяла его за руку, даже по привычке: не чувствовала в этом ни малейшей надобности.

Взяв его за руку в тот первый день их знакомства, она уже ощутила... что же? Нечто совершенно новое и неведомое. Нечто такое, чего совершенно не ожидала обнаружить в закончившем школу городском парне, разгуливавшем в начищенных до блеска туфлях. Она почувствовала лишь какое-то уходящее вдаль большое будущее. Оно наполнилось разнообразными уровнями и напластованиями, подобно природному ландшафту. Широкие просторы степей сменялись плотно заросшими участками, подземными пещерами, холмами, ущельями и пустынями. Ей не хватило времени, чтобы осмыслить все – слишком велика, слишком сложна оказалась натура. И большей частью его душа ускользала от ее понимания. Поняла она только, что в нем заключено нечто особенное, не доступное ее восприятию, не доступное пока восприятию их обоих. Осознала также таинственную внутреннюю сдержанность; какую-то связь или узы, видимо, следовало разорвать, освободиться от них, чтобы он смог свободно жить в своем ландшафте, управлять своим миром.

Ее взгляд невольно отслеживал движения одного яблока: вот оно повернулось к ней красным бочком, потом появилась выемка чашелистиков, и, наконец, опять вздернутый кончик плодоножки.

Последний раз, когда он приходил на ферму, после его урока они отправились на прогулку, дошли до самого дальнего луга, встретили закат, на землю спустились сумерки, приглушив темноту древесных стволов, углубились тени на бороздах недавно скошенных лугов. Случайно они увидели Джоан, шагавшую между живыми волнами боков бредущего к дому стада. Ей нравилось проверять, как работает Бартоломью, или, может, нравилось показывать, что она за ним следит. Одно из двух. Агнес поняла, что мачеха тоже заметила их. Голова Джоан повернулась в их сторону и долго наблюдала, как они проходили вместе по дорожке. Вероятно, она догадалась, почему они там идут, могла заметить, что они держатся за руки. Агнес сразу почувствовала, как встревожился репетитор: его пальцы мгновенно похолодели и задрожали. Она успокаивающе пожала ему руку, а потом отпустила ее, позволив ему пройти перед ней через ворота.

«Никогда, – изрекла тогда Джоан, – да что вы о себе думаете?» И она так грубо расхохоталась, что напугала овец, они вскинули свои тупые головы и шарахнулись от нее, быстро перебирая копытцами. «Никогда, – повторила она снова, – сколько вам годков-то?» Не дожидаясь ответа, она ответила сама: «Маловато. К тому же мне известна ваша семейка, – погрозив ему пальцем, добавила она и презрительно скривилась, – она всем печально известна. Ваш папаша опозорился, проворачивая темные делишки. И что с того, что прежде он был бейлифом? – воскликнула она, выразительно подчеркнув слово «был». – Как же он любил командовать нами, расхаживая в своей красной мантии. Да только те времена прошли. Вы хоть представляете, сколько ваш отец должен городу? Сколько он должен нам? Вам пришлось бы учить всех моих детей до самой их зрелости, и все равно это не покрыло бы его долга. А потому нет, – заключила она, переводя взгляд с репетитора на Агнес, – вы не женитесь на ней. Она выйдет замуж за добропорядочного, зажиточного фермера, способного обеспечить ее жизнь. Отец оставил ей приданое в завещании... не сомневаюсь, что вы уже пронюхали об этом! Она не выйдет замуж за такого никчемного бездельника, как вы».

И Джоан отвернулась, явно показывая, что разговор закончен.

– Но я не хочу замуж за фермера, – крикнула ей вслед Агнес.

– Да неужели? – Мачеха опять расхохоталась. – Значит, ты хочешь замуж за него?

– Да, – ответила Агнес, – хочу. Очень хочу.

Джоан лишь вновь рассмеялась, покачав головой.

– Но мы уже обручились, – подал голос репетитор, – я сделал Агнес предложение, и она согласилась, поэтому мы помолвлены.

– Еще чего удумали, – заявила Джоан, – для помолвки необходимо и мое согласие.

Помрачнев, как грозовая туча, репетитор развернулся, убежал с пастбища и углубился в лес, а Агнес осталась стоять на месте. Мачеха тут же прикрикнула на нее: «Чем стоять столбом, как простофиля, возвращайся-ка в дом да присмотри за детьми».

В следующий раз, когда он пришел на ферму, Агнес тихо заговорила с ним.

– Я знаю, как нам быть, – сообщила она, – знаю, как нам добиться согласия. Мы добьемся его сами. Пойдем, – добавила она, – пойдем со мной.

Каждое яблоко для нее в эти мгновения выглядело неповторимо особенным, уникальным, каждое имело свои особые вариации малиновой, желтой и зеленой окраски. И каждое из них, казалось, то поглядывало на нее своим одним глазком, то скромно отворачивалось. Много, слишком много, потрясая много соглядатаев, и создаваемый всеми ими шум, с его постукиваниями и покачиваниями, длился и длился с нарастающей ритмичной скоростью. Ей уже не хватало воздуха, сердце в груди то замирало, то билось как сумасшедшее, долго она такого накала страстей не выдержит, не выдержит, не выдержит. Несколько яблок выкатились из своих выемок и упали на пол, вероятно, репетитор раздавил их, потому как воздух наполнился сладковато-кислым запахом, и тогда она вцепилась пальцами в его плечи. Она знала,

чувствовала, что все у них будет хорошо, все будет так, как они хотели. Он прижал ее к себе, и она услышала, как он начал задыхаться, ему тоже с трудом уже удавалось переводить дух.

* * *

Джоан не проводила свои дни в праздности. Она вырастила шестерых детей (восемь, если считать чокнутую падчерицу и ее придурочного брата, которых ей пришлось принять под свое крыло после женитьбы). А в прошлом году она овдовела. Покойный муженек, естественно, оставил ферму Бартоломью, однако условия завещания позволяли ей, Джоан, жить там, приглядывая за домашним хозяйством. И она усердно приглядывала. Она не доверяла Бартоломью, считая его крайне недальновидным. Сообщила ему, что будет продолжать с помощью девочек управлять кухней, двором и садом. А Бартоломью с братьями пусть позаботятся о стадах на пастбищах, но она будет раз в неделю заглядывать к ним, проверяя, все ли там в должном порядке. В общем, Джоан изо дня в день ухаживала за курами, свиньями и молочными коровами, готовила еду и кормила мужчин, наемных работников и пастухов. Двум младшим сыновьям она решила дать самое лучшее образование, видит Бог, оно им понадобится, поскольку ферма, как ни жаль, не перейдет им по наследству. Под ее бдительным присмотром также жили три дочери (четыре, если считать падчерицу, хотя Джоан обычно ее не учитывала). Забот ей хватало, она пекла хлеб, доила коров, заготавливала ягодные напитки в бутылках, варила пиво, чинила одежду, штопала чулки, скребла полы, мыла посуду, проветривала постельные принадлежности, выбивала ковры, мыла окна, отскребала столы, причесывала волосы, подметала коридоры и драила ступеньки лестниц.

Поэтому понятно, что лишь через несколько месяцев она заметила некоторое сокращение предметов стирки из-за отсутствия месячных прокладок.

Сначала она подумала, что просчиталась. Стирка затевалась раз в две недели, рано утром по понедельникам, что позволяло успеть все просушить и отгладить. В одну из стирок обычно бывало мало месячных прокладок; у нее с дочерьми менструации приходили одновременно; а у падчерицы, разумеется, они случались в другое время, у нее ведь все не по-людски. Она и ее дочери точно знали периодичность своих циклов: в одну из понедельничных стирок от нее с дочерьми накапливалось много засохших до ржавой рыжины прокладок, а в следующую – набиралось гораздо меньше – от одной Агнес. Стараясь не дышать, Джоан для начала забрасывала их в бак с водой деревянными щипцами и посыпала солью.

Однажды утром в конце октября Джоан разбирала грязное белье в прачечной. Куча рубашек, перчаток и чепцов собралась для погружения в кипящую воду с солью; чулки для стирки в корыте с прохладной водой; испачканные бриджи, заляпанная землей юбка, какой-то плащ, явно искупавшийся в грязной луже. Горка, которую Джоан обычно называла «пачкотней», оказалась меньше обычного.

Закрыв нос рукой, она принялась разбирать самые грязные вещи, провонявшую мочой простыню (ее младший сын Уильям еще не вполне надежен в этом отношении, несмотря на угрозы и уговоры, впрочем, ему пока всего три года, дай ему Бог здоровья). Следом пошла рубаха, испачканная каким-то навозом с прилипшим к нему чепцом. Джоан озабоченно огляделась. Постояла немного в задумчивости.

Она направилась во двор, где ее дочери, Кэтрин, Дженни и Маргарет, выжимали уже выстиранные простыни. Кэтрин привязала веревку к поясу малыша Уильяма, а второй конец обвязала вокруг своей талии. Он упорно сопротивлялся, дергая за свой конец, и тихо хныкал, цепляясь руками за траву. Он пытался добраться до свинарника, но Джоан слышала так много историй о том, как свиньи могут затоптать детей, поломать им кости или даже съесть. Она не разрешала младшим детям шлаться где угодно.

– Где же месячные прокладки? – спросила она, остановившись в дверном проеме.

Две ее дочери, стоявшие напротив друг друга, выкручивали за концы свитую в жгут простыню, выжимая из нее воду на землю, но, услышав вопрос матери, оглянулись. Глядя на нее с невинным недоумением, они пожали плечами.

Джоан вернулась в прачечную. Должно быть, она сама ошиблась. Они должны быть где-то здесь. Она пересмотрела все сваленные на полу кучи. Перетрясла рубашки, чепцы и чулки. Вновь покинув прачечную, она быстро прошла мимо дочерей в дом и сразу направилась к бельевому шкафу. Там она быстро пересчитала стопки с выстиранными толстыми тряпками на верхней полке. Она знала, сколько таких тряпок имеется в доме, и обнаружила, что все они на месте.

Протопав по коридору к выходу, Джоан вышла на крыльцо и захлопнула за собой дверь. Помедлила на ступеньке, выпуская из носа облачка пара. Уже холодный, почти морозный воздух означал, что осень клонилась к зиме. Курица с важным видом шествовала по лестнице в курятник; привязанная к колышку коза, набрав полный рот травы, продолжала задумчиво жевать и лишь скосила на нее глаз. Ум Джоан прояснился, пронзенный теперь одним-единственным вопросом: «Кто же из них, кто именно, кто?»

Возможно, она уже догадалась, но тем не менее все равно решительно прошла по двору обратно к прачечной, где ее дочери, о чем-то хихикая, продолжали выжимать воду из простыней. Для начала она схватила за плечо Кэтрин и, прижав руку к животу девушки, глянула ей прямо в глаза, не обращая внимания на возмущенные вопли. Простыня упала на влажную, усыпанную листьями землю, попав под ноги и ей, и испуганной девушке. Джоан прощупала дочь: плоский живот, костлявые бедра, пустое брюхо. Отпустив Кэтрин, она взялась за младшую Дженни, еще совсем девочку, мысли матери встревоженно метались: «Ради всего святого, поимейте жалость, но ежели она понесла, если кто-то поигрался с ней, то я пойду на все, измыслю страшную кару, жуткую месть, и этот охальник горько пожалеет о том дне, когда его нога ступила в “Хьюлэндс”, ежели он хоть раз где-то поимел мою девочку, испортил ее, то я добыюсь...»

Руки Джоан бессильно повисли. Живот Дженни оказался тоже плоским, почти впалым. «Наверное, – вдруг подумала она, – мне следует получше кормить девочек, подкладывать им побольше мяса. Неужели я недокармливаю их? Неужели? Неужели я позволяю мальчикам съедать больше, чем положено?»

Она тряхнула головой, стараясь избавиться от неприятных мыслей. «Маргарет, – подумала она, – приглядываясь к гладкому и встревоженному личику своей самой младшей дочки, – нет. Невозможно. Она еще ребенок».

– Где Агнес? – спросила она.

С ужасом поглядев на мать, Дженни опустила взгляд на грязную простыню под их ногами; Кэтрин, как заметила Джоан, отвела глаза, словно уже поняла причину такого вопроса.

– Я не знаю, – ответила Кэтрин, наклонившись, чтобы поднять простыню, – она может быть...

– Агнес пошла доить корову, – выпалила Маргарет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.